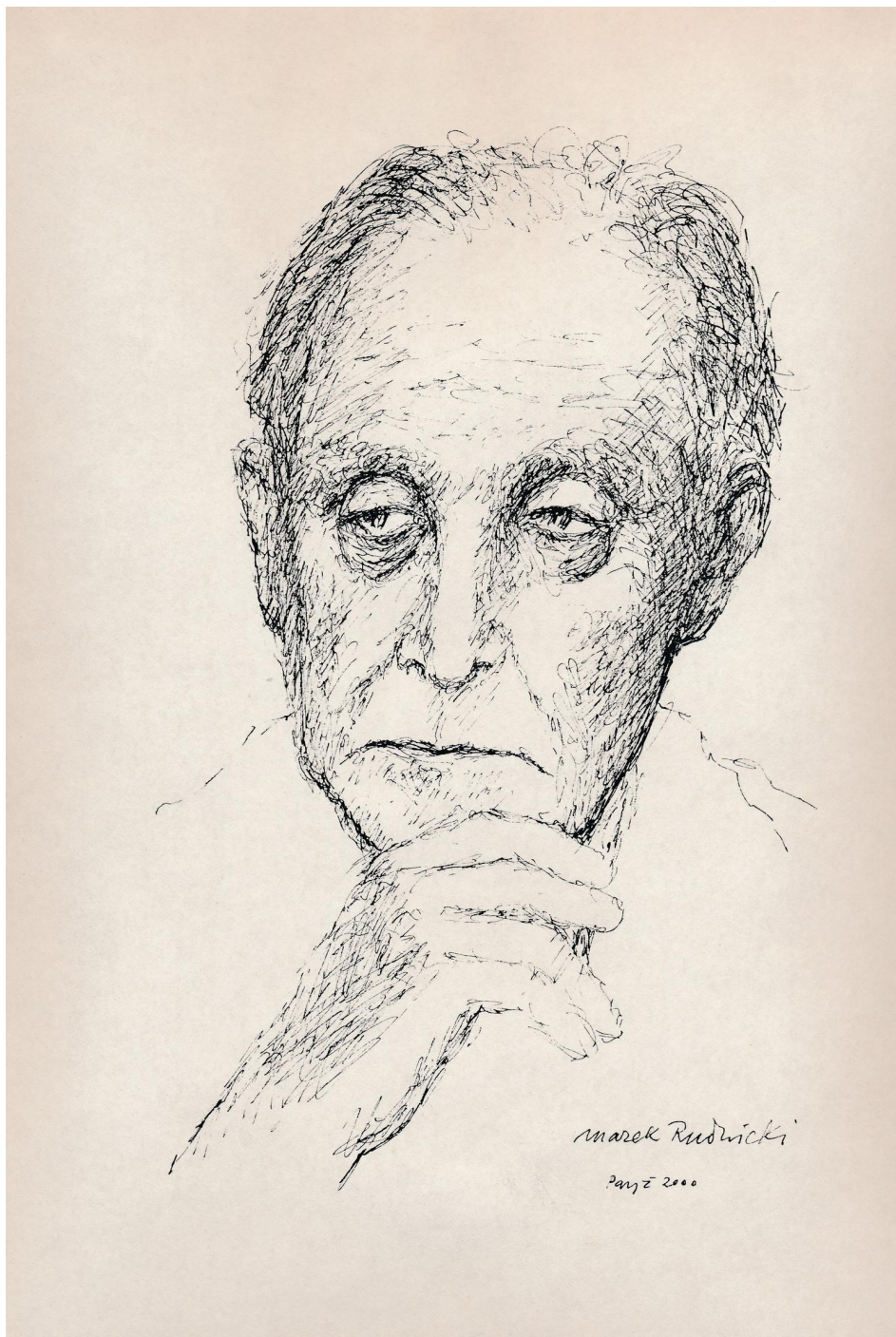




НОВАЯ ПОЛЬША 12/2018

Выпуск изображений



Ежи Гедройц (1906–2000). Уже до войны основал влиятельный еженедельник "Бунт молодых" переименованный позже на

"Политику". Во время войны сражался в рядах Карпатской бригады, а затем руководил отделом печати в штабе корпуса ген. Андерса. В 1946 г. основал в Париже ежемесячник "Культура", который стал центром польской политической и общественной мысли не только в эмиграции но и в стране, куда попадал нелегально. Кроме "Культуры" под руководством Гедройца выходили "Исторические тетради". В "Библиотеке Культуры" опубликовано более 600 томов, в том числе переводы произведений Сахарова, Солженицына, Геллера и других русских авторов. В первом номере нашего журнала мы опубликовали его обращение к читателям, начинавшееся словами: "Выход в свет Вашего журнала я считаю событием, которое трудно переоценить, ибо от нормализации польско-российских отношений зависит не только будущее наших стран, но и будущее формирующейся объединенной Европы" (НП 1/1999). (Рисунок Мерека Рудницкого).



Ежи Помяновский (1921-2016), писатель. Работал врачом, журналистом, завлитом Национального театра, профессором университета в Пизе (Италия). Сотрудник парижской "Культуры". Автор книг о театре ("Сезон в чистилище"), о литературе ("Магнитный полюс"), о прошлом и будущем Польши в Восточной Европе ("Русский месяц с гаком"). Переводчик стихотворений Ахматовой, Мандельштама, Мартынова, прозы Чехова, Бабея, Солженицына. По инициативе Ежи Гедройца основал журнал "Новая Польша" и возглавлял его до смерти. Фото: Ежи Помяновский и Михал Ягелло. Презентация первого номера «Новой Польши» (1/1999).

Содержание

1. Прощание
2. Экономическая жизнь
3. Ложное послание, отравленные умы
4. Лекции о Прусте [ч. 2]
5. Булат Окуджава: «Это моя жизнь»
6. Выписки из культурной периодики
7. Больше всего меня интересуют те, кого уже нет
8. Смуглая свобода
9. Непокорный писатель
10. Вырванное из забвения
11. Культурная хроника
12. Город Б.
13. «Куры» и стихия пародии
14. Записки ротозея
15. Литература и политика
16. Доклад, посвященный «Обществам дружбы»
17. К столетию смерти Эдварда Абрамовского
18. Как я порезала следователя
19. Великая публицистика и смыслообразующие механизмы

Прощание

Дорогие читатели, это последний номер «Новой Польши». После девятнадцати лет существования наш журнал перестает выходить. Впрочем, бумажная версия оказалась недоступна в России уже с марта этого года. В следующем году появится новое издание с прежним названием и новой редакцией.

Мы старались по горячим следам информировать вас о событиях в нашей стране, о культурных, политических, экономических, общественных проблемах. Представляли достойные вашего внимания произведения польских писателей – современных и не только. Обращались к вопросам истории, затрагивая темы, которые, как нам казалось, могут заинтересовать русскоязычного читателя.

Мы надеемся, что к подшивкам «Новой Польши», хранящимся в библиотеках и доступным в Интернете, будут обращаться те, кто интересуется нашей страной и ее культурой. Ведь бóльшая часть собранных журналом материалов не устаревает.

Спасибо вам, что вы нас читали, спасибо авторам и блестящим переводчикам, решавшим зачастую труднейшие задачи.

Всего вам самого доброго! До встречи в лучшие времена. Этого мы желаем вам и себе в канун Рождества и Нового 2019 года.

Редакция

Экономическая жизнь

Прямые зарубежные инвестиции в польскую экономику составили в 2017 году 35 млрд злотых. Это наполовину меньше, чем в предшествовавшем году. Главная причина спада — отток заграничного капитала, затронувший целый ряд отраслей. Данные Национального банка Польши, опубликованные в издании «Дзенник. Газета правна», свидетельствуют, что отток инвестиций был особенно заметен в розничной торговле. Баланс купленного и проданного инвесторами в Польшу составляет минус 11 млрд злотых. Общий годовой баланс прямых инвестиций все же положительный, однако оказался самым низким с 2013 года, когда заграничные инвестиции в Польшу составили 11,4 млрд злотых нетто. Экономист Форума ответственного развития Александр Лашек обращает внимание, что в пересчете на процент ВВП прошлогодний приток инвестиций в Польшу был ниже среднего в регионе Центральной и Восточной Европы.

Если раньше можно было пользоваться благоприятной конъюнктурой в Европе (где продавалось 80% польских экспортных товаров), то теперь, когда ситуация ухудшилась, Польша должна считаться со спадом заказов от зарубежных контрагентов (количество экспортных заказов снижается в самом высоком темпе за четыре года). Ясно, что польская экономика не может оставаться в стороне от негативных европейских трендов, о чем многие польские политики забывают. К зарубежным трудностям добавляются внутренние проблемы, препятствующие развитию, например, не способствующие предпринимательской деятельности правовые нормы или нехватка работников, которую не в состоянии компенсировать приезжие из Украины. Фирмы не инвестируют и не развивают производство, если некого поставить у станка. То, что отстают даже те, кому благоприятствует нынешний цикл конъюнктуры, имеет для финансов страны далеко идущие последствия: в бюджете не будет прибавляться денег, чего не возместит ужесточение налоговой системы. Более того, те польские фирмы, на которые опирается финансовая система государства, в следующем году должны будут столкнуться со значительным повышением цен на электроэнергию и газ. «Меньше денег в государственной казне означает, что перестанут вводиться новые социальные программы и разбазариваться общественные средства», — пишет в «Жечпосполитой» Павел Рожинский. Для правящей

партии эта ситуация крайне неблагоприятна, поскольку может негативно отразиться на результатах предстоящих парламентских выборов.

Прекрасная конъюнктура на рынке труда и растущие заработки сказываются на сокращении рабочего времени как наемных работников, так и предпринимателей и самозанятых. По данным Главного статистического управления, в первом полугодии текущего года профессиональные обязанности занимали у поляков в среднем 38,7 часов в неделю; это на 2 часа меньше, чем двумя годами ранее, и самая низкая цифра за все годы, когда проводились исследования. Данные Евростата показывают, что среднее время работы в Польше систематически сокращается с момента вхождения страны в Европейский союз. Это влияет на развитие экономики и улучшает систему труда. В последние годы такую тенденцию укрепляет рост заработной платы. «Чем выше оплата труда, тем короче рабочее время», — пишет на страницах «Жечпосполитой» Петр Левандовский, руководитель Института структурных исследований. А проф. Мария Дроздович-Бец, экономист из Главной торговой школы, отмечает, что сокращению времени работы способствуют развитие социальных пособий и политика повышения минимального заработка и часовой ставки. Это ослабляет стремление работать сверхурочно.

Почти 7,5 тыс. гостей из 31 страны привлекла ярмарка «Кельце — Bike Expo». В ярмарке нынешнего года приняли участие 230 фирм из 15 стран, в том числе из Австрии, Китая, Германии, Тайваня, Италии. Больше всего было польских велосипедных фирм — 170. Польский рынок велосипедов оценивается в миллиард злотых. Как сообщает Польское объединение велосипедной промышленности, 90% рынка занимает продажа новых велосипедов. Поляки покупают всё более дорогие модели — в этом году они потратили на велосипеды 1,2 млрд злотых. Польша в течение многих лет остается одним из крупнейших производителей велосипедов в Европе. Доля Польши на европейском рынке начиная с 2015 года держится на уровне 9%, что обеспечивает стране четвертую позицию за Португалией, Германией и Италией. Развитие велосипедной отрасли повлекло за собой и рост числа отраслевых выставок. Экспоненты «Bike Expo» подчеркивали, что велосипед перестал быть сезонным товаром. Продажи идут круглый год, а интернет-магазины переживают штурм: поляки все чаще приобретают велосипеды и запчасти через интернет и порталы аукционов. Нынешняя ярмарка «Bike Expo» прошла под знаком электробайков. Предполагается, что по европейским дорогам в

2030 году будет ездить 6,5 млн велосипедов с электрическим приводом.

На китайском рынке неожиданно возникли нехватки продовольствия, чем польские производители и экспортеры намереваются воспользоваться, чтобы начать сотрудничество с Китаем, — отмечается в докладе «Inside China», подготовленном экспертами Варшавского университета. Важнейшим фактором стал рост напряженности между США и Китаем, в результате чего установлены 25-процентные пошлины на импортируемые из США продовольственные товары. Импорт сорго, кукурузы и пшеницы снизился соответственно на 62,5%, 63,7%, 43,03% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По мнению авторов доклада, после введения повышенных пошлин импорт американской свинины стал нерентабельным. Производство мяса в самом Китае осложняется из-за дорогой сои и быстро распространяющейся эпидемия африканской чумы свиней. Решение китайских властей вернуть в страну польский экспорт птицы открывает перед польскими предпринимателями широкие возможности. Такого решения польские производители мяса птицы ждали около двух лет — в свое время экспорт приостановился из-за случаев птичьего гриппа в Польше. Сейчас китайский рынок открыт для пяти польских предприятий. В очереди на получение допуска на экспорт в Китай — почти два десятка польских производителей мяса птицы.

Европейский парламент вводит обязательные залоговые цены на пластиковые бутылки. Польша выступила против этих мер. Как полагают польские власти, ввести залоговые цены на пластик — значит поддаться безумию Брюсселя и Страсбурга. Но есть и другая сторона медали. Обратимся к пивоваренной промышленности. Казалось бы, что в Польше преобладают банки и не подлежащие возврату бутылки. Однако это не так: производители пива сообщают, что есть и возвратная стеклотара, 90% которой вновь поступает на пивоварни. Возврат мог быть более значительным, если бы не система наклеек и ярлыков, практикуемая преимущественно небольшими магазинами для подтверждения, что возвращаемые бутылки приобретены именно у них. Цена возвратной бутылки невелика, но в масштабах всей страны — это огромный оборот, существенный также с точки зрения экологии. Что случится, если это море пива разлить по банкам и бутылкам одноразового использования? Как сообщает газета «Жечпосполита», в Польше существует проблема с чрезмерным количеством отходов, но в нынешних реалиях трудно

представить, что это торговля понесет все расходы, связанные с созданием системы сбора тары из-под напитков и возвратом залоговой цены.

Е.Р.

Ложное послание, отравленные умы

Эксперты и политологи ломают головы — почему, впервые с коммунистических времен, на польской сцене появилась партия, абсолютно устойчивая к имиджевым потерям? Этого не объяснить — как в былые времена — цензурой, политическим контролем и беспрестанными происками секретных служб. Нет, до такого в Польше еще далеко, хотя горячие головы от оппозиции уже кричат о «ползучей диктатуре».

СМИ — исключая те, которым присвоено обманчивое определение «национальных» — по-прежнему плюралистичны. Хотя маршалек Кухцинский делает в Сейме всё, чтобы пресечь неодобрительную болтовню, у оппозиции еще остается достаточно инструментов для успешных пререканий с властями. Впрочем, куда ушли те времена двадцатилетней давности или даже более поздние, когда, затаив дыхание, мы следили за телевизионными трансляциями заседаний Сейма? А тут еще интернет, которому никто не указ...

Несмотря на это, никакие ошибки или конфузы властей предрежащих не в состоянии реально поколебать их рейтинги. Другую партию давно уже обрушили бы серийно совершаемые ошибки, глупость и самоуверенность лидеров, оскорбления, которыми они забрасывают противников, ложь, при помощи которой они искажают историю. Начиная с пресловутого «худшего сорта», к которому председатель правящей партии «Право и справедливость» причислил всех, кто не поддерживает ПИС — на подобную пощечину, адресованную, по меньшей мере, половине нации, не отваживались даже коммунисты. До уже повседневного нарушения конституции и, наконец, «законодательного поноса» в Сейме, высшей точкой которого стало недавнее обновление закона об Институте национальной памяти, продавленное председателем коленом (хотя и больным^[1]) в издевательском для польского парламента темпе. Даже коммунисты снабжали свои политические маневры несколько более изысканными, пусть не менее лживыми, декорациями. Правящей ныне партии не нужно даже этого: в худшем случае, она опустится вниз на пару недель, после чего рейтинги опросов возвращаются к

неизменным 35–40%. Беспомощная оппозиция может болтать всё, что ей вздумается.

Спокойствие, это всего лишь подкуп!

Мы успокаиваем себя возгласом из этого подзаголовка. Ведь ПИС запустил социальные программы в неслыханных до сих пор масштабах, а народ после восьми лет правления «Гражданской платформы» — чересчур осторожно заглядывавшей в бюджет — изголодался по льготам. «Темный люд» не такой уж «темный» (перефразируя высказывание Яцека Курского^[2]) и своего не упустит, а укоренившиеся убеждения он меняет медленно. Во времена «социалистического благосостояния» все знали, что «у Герека есть, значит, Герек даст». Нужно лишь посильнее его прижать, а лучше всего припугнуть. Мы с неплохим результатом освоили это за время многочисленных политических кризисов в ПНР. Раз уж государство всё держит в руках и всё решает, то оно может и пошире открыть государственную кубышку. С тех пор изменилось лишь то, что сейчас есть выборы, а значит, вопросы нужно решать не на улице, а у избирательной урны.

Потому стремившаяся к власти партия раздавала обещания и быстро их выполняла: «500 плюс»^[3], снижение пенсионного возраста (кого волнует, что пенсии скоро станут нищенскими?), минимальная оплата труда, школьные наборы, частично бесплатные лекарства для пенсионеров, доплаты ветеранам «Солидарности» и что там еще... Как не любить столь щедрую власть? Не хватило только детям-инвалидам, но они и их несчастные родители — слишком малая электоральная группа. Избиратель с удовольствием принимает все эти подарки и даже позволяет заморочить себя ими, но эйфория, проистекающая от легко добытых денег, проходит, инфляция — остановленная в 2014–2016 годах — уже тронулась с места, а в амбициозные экономические планы премьера Моравецкого не верит, кажется, ни один серьезный экономист. Хуже того, всё новые группы — раздраженные тем, что другие уже получили, а они еще нет — увеличивают свои требования и даже выходят протестовать. Достаточно небольшого колебания экономической конъюнктуры на Западе (особенно в Германии), чтобы рухнул наш экспорт, а вместе с ним бюджетные доходы и рабочие места в фирмах. Если успех ПИС приписать лишь раздутым социальным программам, то выборы в этом году партия еще как-нибудь выдержит, но уже на парламентских выборах через год ее судьба представлялась бы мне печальной.

Тем временем, ничто на это не указывает. Тогда давайте выдвинем другую причину неослабевающей популярности

партии Ярослава Качинского: популяризированные в СМИ исследования д-ра Мацея Гдули в уездном городке в Мазовии, скрытым под загадочным названием «Мястко». Из них следует, что своей брутальностью по отношению как к оппозиции, так и к прежним элитам, различным меньшинствам (в том числе беженцам), а может, и по отношению к инвалидам, ПИС осуществляет дремлющую во многих поляках мечту о доминировании и силе. Отождествляя себя с ПИС, они чувствуют себя сильнее, не падают духом, утверждаются в своем традиционализме и неприятии современности. Здесь мы уже ближе к ужасной истине о нас самих, но еще далеки от ее сути.

Злополучный польский сарматизм

В апрельском номере журнала «Одра» опубликован мой текст «Сарматская Речь Посполитая 2.0». В нем я размышлял, почему нынешние польские власти в своей социальной педагогике (очень интенсивно практикуемой, в отличие от прежних правителей), в своей столь модной в последнее время «исторической политике» обращаются к сарматской традиции, к шляхетской, барочной и подверженной влиянию контрреформации Речи Посполитой времен XVII и даже трагического для Польши XVIII века, хотя именно тогда государство было уже нездоровым, всё более неуправляемым и разрушавшимся?

Не нужно долго думать: во главе ПИС стоят не политические недотепы, а лидеры (а может быть, только один Лидер?), обладающие, по меньшей мере, каким-никаким знакомством с плохими трендами и невыгодными для Польши ветрами, которые возникли на рубеже тысячелетий и всё более доминируют на мировой сцене. Демократия увязает в кризисе, верх берет популизм и даже национализм. Европейский союз и НАТО в своем теперешнем виде перестают быть надежным гарантом нашей безопасности и даже независимости. Центр мира перемещается из Америки и Западной Европы куда-то в Азию, а может быть, скорее, распадается на множество враждебных центров. Усиливается терроризм. Быстро оказалось, что — шумно отпразднованное — вступление в западные структуры (в 1999 году в НАТО, пять лет спустя в Евросоюз) не гарантирует спокойного будущего. Куда идти, в какую сторону плыть в этом всё более бурном океане?

По отношению к таким вызовам возможна простейшая, но, конечно, не единственная стратегия. Я назвал бы ее «стратегией страуса», хотя настоящие пустынные птицы не прячут голову в песок в случае опасности. Нужно инкапсулироваться в традиционном национальном государстве, как можно менее связанном с широкими

сообществами, независимом, замкнутом, ксенофобском, верящем лишь в собственные силы, увлеченном традиционными ценностями и, конечно, провинциально-католическом.

После нас хоть потоп

Такое государство неспособно ни к построению более широких союзов, ни к активному противодействию угрозам, но обладает иммунитетом к новшествам, приходящим из «испорченного» окружения, способно пережить наихудшие времена в более или менее неизменной форме. Ведь такой, с победой контрреформации, стала шляхетская Речь Посполитая где-то в начале XVII века при правлении Сигизмунда III, после провала неудачного мятежа Зебжидовского. Этому государству еще долго удавалось сохранять внешние признаки прежней мощи, под шум гусарских крыльев грома шведов и москалей, и даже турок под Веной, но оно уже было размыто, неспособно к дальнейшим реформам, обречено на гибель. Его шляхетская нация была одурманена патриотической спесью, считая себя лучше остальной Европы, единственным продолжателем республиканских традиций античного Рима, не видя необходимости в переменах. Магнат Лукаш Опалинский в середине XVII века, незадолго до шведского потопа, писал: «Мы живем в безопасности, не зная ни насилия, ни страха. Нас не грабит солдат, не терзает мытарь, правитель не угнетает и не принуждает к повинностям... Мы занимаемся Речью Посполитой, поскольку нам это нравится». Вскоре, под городом Уйсце, его старший брат сдаст шведам без боя армию, защищавшую Великопольшу. Трудно найти лучший символ для той эпохи. Государство разрушалось, цвела мегаломанская спесь.

Этот возврат к сарматизму и слепому патриотизму тех времен — результат неверия в наши силы и способности, доказательство глубокого пессимизма стратегов, задающих сегодня тон. Политик не думает о том, что будет через двадцать или тридцать лет, он живет перспективой, в лучшем случае, двух выборных сроков. В этой перспективе столь деградировавшая Польша выживет. А после нас хоть потоп...

Виноваты чужаки и предатели!

Однако почему же мы не обращаемся к несколько более ранним временам, к ренессансу, к опережавшим свою эпоху реформам той же самой Речи Посполитой, прежде чем она застряла в немощном, но самодовольном сарматизме? Ведь именно федеративное польско-литовское государство создало опередившую свое время, первую в Европе демократическую систему в масштабах державы, неплохо функционировавшую

на протяжении почти двухсот лет. Но та, более ранняя Речь Посполитая была открытой, любопытной к миру, уверенной в своем будущем, заинтересованной в дальнейших реформах, убежденной не только в равенстве шляхетского сословия, но и в равенстве поляков и литовцев, католиков и протестантов, которые в определенный момент составляли почти половину польско-литовской шляхты. Но ведь не такой пример нужен сегодня правителям. Не такое сознание, не такие интересы. Даже не горькое и безжалостное для нашей истории суждение о том, почему нам не удалось удержать это направление, почему мы не распространили равенство и демократию на другие сословия, хотя бы на мещанство? Почему вначале рвавшийся к реформам слой шляхты проглядел великое перемещение центра мира к Атлантике, бурное развитие торговли и городской цивилизации? Почему он пассивно погружался в захолустный менталитет фольварков, где расцветал мегаломанский сарматизм, а Речь Посполитая превращалась в рабовладельческое государство?

Да, но тогда нам пришлось бы воскликнуть: «Наша вина!». А мы же невинны и чисты! Мы хотели как лучше! Мы всегда преданно держались своей веры, герба и ценностей. Были плацдармом, прикрывавшим Европу от язычества и раскола, только вот она не сумела нас оценить. В нашем крахе виноваты чужаки, а больше всего предатели! Ведь единственный урок, который мы извлекли из сарматизма, приведшего прямо к катастрофе разделов страны, это чувство обиды и разочарования.

Темный лик романтизма

Польский романтизм XIX века, мучительно переживавший проигранные восстания и страдания народа, высосал соки именно из того самого сарматизма, напитался им, освятил его. Он стал наследником падения сарматской Речи Посполитой, с ее тщеславием, близорукостью и чувством превосходства над «испорченной» Европой. Ведь суть польского романтизма именно в испытанной несправедливости и незаслуженных страданиях. Это Мицкевич назвал Польшу «Христом народов», приведенным на Голгофу за чужие грехи. Это Словацкий грезил о «всемирном духе», который через великие дела и великую боль сравняется с Богом. Именно по его представлению польскость — это последняя и высшая стадия эволюции человека, через которую должны пройти все другие народы. Так возник романтический и мессианский патриотизм, которому необходимы поляки, но совершенно не нужна Польша. Когда она уже не является святой надеждой разбитых повстанцев, а становится нормальным государством, которым нужно мудро руководить, она просто мешает.

XIX век был нашей величайшей национальной трагедией. Не только потому, что в конце предыдущего столетия пало одно из крупнейших государств тогдашней Европы, пусть уже подорванное и плохо управляемое. Не только потому, что это был век очередных проигранных восстаний, каждое из которых означало кровопролитие, бегство в эмиграцию, либо изгнание на каторгу, но каждое из них также ухудшало положение народа. Не только потому, что более счастливая часть Европы в это, потерянное для нас, время строила современные общества, форсировала реформы, создавала бессмертные достижения научно-технической революции, а нам оставались лишь бесплодные революции в борьбе за независимость. XIX век доказал каждому, кто чувствовал себя поляком, насколько глубоко это ощущение обиды срослось с польскостью, насколько чувствительным и необратимым оно выглядит. Он перепахал болью, напрасной кровью и страданием каждую шляхетскую или интеллигентскую семью, очень многие буржуазные. Это чувство обиды и отверженности стало центральной точкой польского сознания, на него опирался польский романтизм в своих наивысших взлетах. И именно это является сутью национальной трагедии.

Уродливый суррогат патриотизма

Именно такому романтизму, такой литературе, такой модели патриотизма учили уже в польских семьях при оккупации, а потом и в школах независимого государства в XX веке. Ни довоенная Речь Посполитая, ни ПНР, ни независимая Польша после 1989 года не пытались всерьез формировать разумный патриотизм, принимающий во внимание как то, в чем мы оказались великими, так и моменты нашей низости. Свободный от мании величия, находящий причины для славы не в поражениях, а в победах, достигавшихся силой не обязательно сабли, но также и ума. На собственную гибель это игнорировала, в частности, череда правительств и партий, руководивших страной после падения коммунизма. Не было попыток обратиться к наследию шляхетской демократии, на 250 лет опередившей предложение Монтескье о тройственном разделении властей и неплохо функционировавшей, пока не восторжествовал сарматизм. «Солидарность», крупнейшая в истории мирная революция, сегодня является полем стычек историков, роющихся в габэшных писульках, а не причиной для национальной гордости. Мы много говорим о битвах, чаще всего, проигранных; даже если речь заходит о победоносных сражениях с большевиками, мы видим их в свете «чуда на Висле», а не умно задуманного контрнаступления с юга на растянутые советские линии. Гордость за собственную страну — очевидная потребность для каждого человека, а этой

потребностью послевоенное польское государство пренебрегло. И ПНР, и Третья Речь Посполитая. Голосуя за ПИС, граждане напомнили хоть о каком-то патриотизме и получили его уродливый суррогат.

Особой иронией кажется именно то, что «Солидарность» — когда она появилась во времена ПНР и вопреки этой ПНР — тоже обращалась к страдальчески-романтической мифологии. Особенно позже, при военном положении. Голоса разума были немногочисленны, и их не слушали. Но заметить и признать этот «темный лик» польского романтизма еще недостаточно, чтобы понять причины нынешнего отравления умов.

Плебейская Речь Посполитая

Нынешние поляки — это крестьянско-шляхетская смесь с небольшой примесью мещанства (оно всегда было слабым) и еврейства (когда-то сильного, сегодня едва восстающего из руин). О шляхетской нации, шляхетской традиции, преобладающей в официальном течении польской культуры, мы знаем много и прекрасно это подтверждаем. Плебейским элементом — главным образом, крестьянским — пренебрегают; зачем им заниматься, ведь он постепенно растворяется в доминирующей шляхетскости, как исчезло деревенское обращение друг к другу на «вы», замененное шляхетским «пан». Ведь каждый хочет чувствовать себя более важным и считаться лучше, чем он есть. Однако, несмотря на «равнение наверх», на всеобщую шляхетскость (подлинную либо добавленную косметически), плебейство живет в душах большинства из нас и — пусть внешне и вытесненное — по-прежнему болит, как незалеченная рана, формирует наше сегодняшнее мышление, в том числе политическое. Выдает нас с головой, как пресловутые пучки соломы, торчащие из сапог недавнего мужика. Из грязи да в князи.

Шляхетская Речь Посполитая обоих народов не сразу стала рабовладельческим государством; еще в XVI веке, в период ее расцвета, барщина редко превышала один день в неделю. Лишь позже, во время контрреформации и постепенного упадка государства, она начала быстро расти, вплоть до полного закабаления крепостного крестьянина. Деревенский раб, поколениями живший, как животное, и что есть силы вкалывавший на «ясновельможного пана», был освобожден не своими, путем вовремя предпринятых реформ, либо, в крайнем случае, народных восстаний, а чужими.

Даже негры в Америке получили свободу от сограждан, хотя для этого потребовалась кровавая гражданская война. Не так в Польше, где — конечно — ранее были попытки присвоения крестьянам, евреям и мещанам гражданских прав, но всегда неудачные. Потребовались разделы и ликвидация шляхетского

государства, чтобы за нас это сделали враги; первыми пруссаки, потом Австрия, наконец, русские. Польскому еврею также лишь оккупанты позволили выйти из гетто и кагальной юрисдикции. Странно, что в плебейской части народа вообще возникло какое-то чувство патриотизма. Но наверняка из всего крепостнического наследия проистекло и живет глубоко в душах плебейских потомков чувство обиды, еще усиленное деревенской нищетой в независимой Второй Речи Посполитой. Эта требовательная убежденность в несправедливой обиде не является — как того хочется сторонникам однобокого взгляда на историю — плодом лишь ПНР и посткоммунистической трансформации, резко обострившегося неравенства. Она сильно укоренена в нашей психике; именно поэтому мы так легко и беззаботно кричим: «Нам положено!».

Шабаш обделенных

Народная обида отлично совместилась с барочным сарматским повествованием о прекрасной шляхетской нации, в качестве плацдарма Запада стойко сопротивлявшейся «восточному варварству» и еретической реформации, но так и не оцененной этим правоверным ядром христианства, всегда презируемой, нередко, отвергнутой. Особенно, когда она нуждалась в помощи. Источники разные, результат похожий. Одно замечательно удалось польской интеллигенции со шляхетской родословной: перенести в современность этот миф, этот темный и самый вредоносный лик польского романтизма, сквозь который сквозит как высокомерие, так и боль. Обе обиды соединились и отравили польские умы.

Красинский когда-то мечтал: «С польской шляхтой — польский люд», и это свершилось: плебейская обида по-братски обнялась с великопанскими сарматскими грезами, поскольку и там, и здесь всё та же убежденность в том, что История обошлась с нами не по достоинству, и — как писала поэтесса совсем другого народа — «мое поколение мало меду вкусило»^[4]. Неважно, как было на самом деле, важно, что именно нам положены и подарки от власти, и репарации от поганых немцев. Таков результат страдальческого патриотизма проигранных восстаний и павших вождей, которому, начиная с рассвета независимости, полученной в XX веке, учатся в польской школе и которым пропитывают души всё новых поколений, даже если — а это здоровый рефлекс — иногда пытаются над ним посмеяться. Нынешней власти даже не нужно особенно стараться, достаточно продолжать и развивать то, чему положили начало предшественники. Дудочка крысолова без труда сыграет мелодию, приятную такому уху.

Итак, не будет конца убежденности в том, что мы лучше других, ближе Господу Богу, незаслуженно обижены судьбой, и теперь, наконец, можем выкричать эту боль и уязвленную гордость. Даже если бы эта уверенность начала выветриваться, ее можно легко разжечь, указывая на «черномазых», предательскую оппозицию, бездушный Евросоюз, кровожадную Россию, неблагодарную Америку или что там еще подвернется. Так что не финансовые подарки являются сильнейшим связующим веществом, объединяющим сегодня народ с его «направляющей силой», а общая фрустрация отвергнутой невинности. Ведь легче требовать от других, нежели критически смотреть на самих себя. И именно это самое страшное.

Мы сделали для этого всё

Поэтому не будем удивляться тому, что мы имеем на сегодня. Не будем удивляться правящей партии, точно угадавшей свой шанс в совмещении шляхетского наследия польского романтизма — переполненного как обидой на мир, так и болью понесенных ран — с народным чувством обделенности и жалкой доли на протяжении поколений. Не будем удивляться, что из польского наследия выбирается сарматизм и Барская конфедерация^[5], а не демократия ренессансной Речи Посполитой. Не будем удивляться прославлению всех обреченных во главе с «проклятыми солдатами»^[6]. Не будем удивляться флирту с национализмом, лишь бы он не становился слишком шумным и не навредил на международной арене. Наконец, не будем удивляться тому, что всё это обильно поливается святой водой. И не нужно иллюзий: никто в мире не оценит народ, состоящий из раздраженных и требовательных неудачников. Мы сами сделали для этого всё. А справиться с искаженным сознанием будет очень трудно, и для этого, наверняка, будет недостаточно одного срока полномочий Сейма и Сената.

Перевод Владимира Окуня

odra
miesięcznik

-
1. Имеется в виду больная нога Председателя ПИС Ярослава Качинского — Здесь и далее примеч. пер.
 2. Яцек Курский — глава польского государственного

телевидения, которому приписывают фразу: «Запускаем, темный люд это купит» (о лживой кампании против политика Дональда Туска).

3. «500 плюс» — польская государственная программа, предусматривающая ежемесячные выплаты семьям с детьми.
4. «Мое поколение/ мало меду вкусило...» — из стихотворения А. Ахматовой «De profundis» – Примеч. пер.
5. Барская конфедерация (1768 г.) — объединение католической шляхты для защиты самостоятельности Речи Посполитой от Российской империи.
6. «Прóклятые солдаты» — общее название антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций, сформированных в конце Второй мировой войны и после её окончания.

Лекции о Прусте [ч. 2]

Как я вам уже сказал, перед войной увидели свет только два первых тома «В поисках...» — «В сторону Свана». Только их не коснулась эволюция и композиционные изменения, произошедшие в годы работы Пруста, совпавшие с войной. Они же — наиболее детально проработанная часть его романа. Эти два тома уже содержат в себе первые вариации всех мотивов, составляющих канву следующих частей. Следующие части со всем их новым материалом, привнесенным войной, новыми впечатлениями, мыслями, со всем расширением и существенным переустройством представляют собой, тем не менее, лишь развитие и воплощение произведения, заложенного в части «В сторону Свана». Назовем его основные темы: французская провинция с отшельнической жизнью пожилых тетюшек-пенсионерок, с древним готическим собором, с пейзажами, описания которых пополнят золотой фонд мировой литературы, со старой няней, Франсуазой, которую мы встретим во всех томах романа, и которая станет типичным представителем портретной галереи сельских жителей «В поисках...». Такова первая тема. Затем — детство, детские переживания, сыновняя и материнская любовь, отношения героя с матерью и бабушкой, которые служат центральным сюжетом. Ежевоскресные походы мальчика в церковь, витражи с рыцарями-Германтами времен крестовых походов, созерцание герцогини Германтской из плоти и крови, которую он каждый раз встречает в церкви, всецело поглощают его внимание, и район Сен-Жермен он будет изучать и анализировать на протяжении всех своих книг. С первого же тома мы знакомимся также со Сваном, а почти весь второй том занимает история любви Свана к Одетте, молодой даме полусвета. Одетта являет собой тип женщины, живущей исключительно любовью мужчин к ней, и вызывает у Свана величайшую любовь и терзания безумной ревности (одна из тем, которые Пруст подробно изучает и которой посвящает сотни страниц второго тома «Свана», а затем «Альбертины»^[1] и «Беглянки»). Благодаря Свану мы проникаем в среду богатой парижской буржуазии, в салон мадам Вердюрен, характерной представительницы этой среды нуворишей и снобов. Детство героя, потрясения и раны, задавшие направление его дальнейшей жизни, его духовной и физической индивидуальности — таковы центральные мотивы этого тома. Говоря о нем, я хотел бы коснуться хотя бы одного ключевого

для автора эпизода. Ребенок, затем юноша и зрелый мужчина, обозначаемый Прустом как «я», проводит лето с родителями в маленьком провинциальном городке. Первые жестокие страдания мальчика, запавшие ему в память, — это когда его отправили из-за стола спать, и он ждет в постели с нетерпением и тревогой материнского поцелуя на ночь. Мать не каждый день поднимается к нему в спальню, чтобы пожелать спокойной ночи. Ужин затягивается. Отец мальчика находит эти непременно вечерние визиты чересчур сентиментальными и нежелательными с педагогической точки зрения. Однажды вечером мальчик не выдерживает: не дождавшись матери, он преодолевает свой страх перед отцом и босиком выскакивает из кровати, чтобы (при его-то болезненности и хрупкости) проторчать долгие четверть часа на темной холодной лестнице, ожидая, пока мать поднимется на верхний этаж к спальне. Каков же его испуг, когда он видит, что мать выходит вместе с отцом, держащим фонарь в руке. Мать, опасаясь худшего наказания, делает мальчику знаки, чтобы он убежал, но отец замечает это, и, вместо того, чтобы разразиться гневом, реагирует совершенно противоположным образом, продиктованным непоследовательностью относительного равнодушия взрослых к трагедиям и переживаниям детей. «Посмотри, в каком состоянии мальчик! Иди скорее к нему, — говорит он жене, — ляг сегодня в его комнате»^[2]. Ребенок, ожидавший самого худшего за свое истерическое неповиновение, получает от отца, напротив, самое желанное, то, о чем он мечтал на протяжении нескольких недель — чтобы мать осталась с ним рядом, в его комнате, и он заснул бы под ее чтение вслух его любимой книги. В неожиданно категоричной форме автор добавляет, что в тот вечер непоследовательность отца стала отправной точкой всех его физических и психических несчастий, что его нервная болезнь, неспособность остановиться в стремлении удовлетворить свои желания и сложные физические явления, виной которым также стали слабые нервы, уходили корнями в тот вечер. Не менее важен для понимания Пруста, биографии героя и самого писателя второй том «В сторону Свана», почти полностью посвященный Свану и анализу его любви к Одетте. Этот персонаж представляет собой своего рода сплав самого Пруста и некоего Хааса^[3]. Хаас, принадлежавший к поколению родителей Пруста, из богатой буржуазии еврейского происхождения, был в начале 1870-х годов одним из самых элегантных людей Парижа, членом элитного аристократического клуба «Jockey Club», другом принца Уэльского, принца Саган и т.п. Сван, как и Хаас, — утонченный светский интеллигент, очарование которого состоит в его

совершенной естественности, в последовательном и мягком эгоизме; ни деньги, ни светские отношения для него не являются самоцелью, они только прокладывают ему путь к тем сферам, где он чувствует себя наиболее органично и где он может в одночасье лишиться своего положения, положения для буржуа из евреев в 1890-е годы невероятно высокого, когда он встречает тревожную и абсолютную любовь, поглощающую его целиком. Одетта, бывшая кокотка, ее возлюбленные, ее тайная жизнь, их искренняя и страстная любовь — все это лишь краткая прелюдия к миру распада этой любви, где к Свану приходит полное и болезненное понимание степени его страсти к этой женщине только тогда, когда Одетта отдаляется от него. Думаю, во всей мировой литературе нет более подробного, всестороннего и точного анализа этой темы, чем на незабываемых страницах Пруста. Я хотел бы передать вам небольшую деталь и пересказать описание, ставшее уже классикой и лучше всего сохранившееся у меня в памяти. Одетта ведет себя таинственно, и Сван месяцами пускает в ход все свои психологические способности и свое состояние, но так и не может узнать, изменяет ли она ему и с кем. Однако постепенное отдаление становится очевидным. Описывая их отношения того времени, Пруст делает пронзительное замечание. Никогда не знаешь, что сильнее всего заставит страдать покинутого любовника: настоящее предательство и многочисленные измены или один роковой любовник, которому она отдаст предпочтение, или совершенно невинное времяпрепровождение, которое еще вернее подтвердит, что отдаление стало окончательным.

Пруст описывает дни Одетты, проведенные без Свана, хотя всего несколько недель назад она не могла прожить без него и дня. У нее нет любовника, она слоняется совершенно без дела по кафе и ресторанам, все ей наскучило. Но она предпочитает это времяпрепровождение встрече со Сваном, смертельно страдающим от ностальгии, которому время от времени почти удается выследить ее, и он видит знаки-следы ее присутствия в разных неожиданных местах. Его ревность и терзания создают мир ложных догадок, совершенно неверно объясняющих причину перемещений Одетты. Но боль Свана будет еще сильнее, когда он узнает, что Одетта не изменяет ему, но предпочитает скуку и одиночество своему любовнику. Именно любовь Свана вдохновляет Пруста на незабываемые фрагменты в одном из следующих томов. Прошло уже несколько месяцев с того момента, как Одетта оставила Свана. Он больше не видит ее. Она стала лишь не покидающим его болезненным воспоминанием, которое не дает ему ни заниматься, ни интересоваться чем-либо. В один прекрасный день он решает сбросить с себя это оцепенение и отправляется на большой

прием к маркизе де Сент-Эверт. Как развлек бы его этот прием до связи с Одеттой! Как весь этот высший свет, обожавший его, обвинял его в том, что он предпочел кокотку, ничтожную женщину, их обществу. С какой настойчивостью высший свет продолжает напоминать ему об этом. И все же, думает Пруст, герою удастся забыться на приеме хоть на несколько часов. Описание этого приема — одно из самых характерных, столько в нем разнообразных типажей, ассоциаций, когда Пруст сравнивает лакеев в роскошных ливреях с фигурами Боттичелли, или обрывками разговоров уточняет стиль герцогини Германтской, или говорит об антисемитизме, модном тогда — графиня второго плана удивляется, что Свана принимают в салоне хозяйки, у которой в семье есть епископы. И Сван возвращается в свет как завсегдатай, его встречают с распростертыми объятиями самые блестящие дамы того времени. Но все это до тех пор, пока он не чувствует неожиданный интерес к старому генералу, который пишет книгу об одном французском военачальнике. А причина этого интереса в том, что улица, на которой живет Одетта, носит имя этого военачальника. Начинается концерт, и тут оркестр играет сонату Вентейля^[4]. Ее скрипичный мотив больше всего на свете напоминает Свану о счастливых временах его любви. Он услышал ее впервые в салоне мадам Вердюрен, где проводил все вечера, и нашел в ней несравненное по красоте произведение новой музыки. Все гости салона знали о его восхищении Вентейлем, поэтому специально для него эта мелодия исполнялась бесчисленное количество раз. Он слушал удивительную мелодию, сидя рядом с Одеттой, увлеченный своей любовью к ней, и эти два чувства настолько слились в нем, что сейчас, когда она зазвучала снова в этой безразличной светской толпе, она пробудила в нем такие яркие воспоминания о счастливом прошлом, которое он старался забыть, что в разрыве, физически отзывавшимся болью в сердце, он снова пережил свое навсегда потерянное счастье. Будучи светским и более чем скрытным человеком, умеющим прятать свои чувства под маской безразличия, тут он не смог сдержать слез. За этим следует подробное и, может быть, одно из искуснейших прустовских описаний: собственно музыки, мелодии, исходящей из волшебного ящичка скрипки и способной вновь разбередить до глубины едва затянувшуюся рану Свана. Соната умолкает; соседка Свана, некая графиня, восклицает: «Я не слышала ничего более утонченного. Эта соната — мое самое большое потрясение». Но, увлекшись своим красноречием, добавляет вполголоса: «Не считая вращающихся столов»^[5].

В последующих томах мы видим развитие и чрезвычайное

усложнение мотивов, затронутых в начале. Я ограничусь тем, что передам вам лишь несколько сцен, несколько психологических проблем, описанных и развернутых у Пруста, сильнее всего запечатлевшихся у меня в памяти. Я вовсе не собираюсь утверждать, что именно они представляют наибольшую ценность. Это всего лишь субъективная иерархия, основанная на личных предпочтениях. Я не помню такого, чтобы, перечитывая Пруста — а я делал это не раз — не нашел бы у него новых акцентов и точек зрения. Я уже говорил вам о бабушке. Смерть этой женщины, так сильно любимой героем и хранимой в памяти до конца его дней, ассоциируется у Пруста с тем, что он называет «перебои сердца»^[6]. Это выражение стало классическим, его знают даже те, кто не осилил всего «В поисках утраченного времени». Бабушка умирает от почечной недостаточности. Разве что некоторые страницы Толстого я мог бы сравнить с этой сценой смерти героини, прообразом которой, несомненно, стала мать писателя, с этим медленным анализом сознания обожаемого существа на пороге смерти, реакциями родных: молчаливой и раздирающей болью матери героя; верной Франсуазы, чье простое и даже грубое отношение к смерти задевает больную в минуты последних проблесков сознания, когда служанка берется насильно причесывать ее и подносит к ее искаженному лицу зеркало, пугая; с описанием известного парижского доктора, в черном костюме с орденом Почетного легиона, всегда приглашаемого в самых безнадежных случаях и прекрасно умеющего играть роль первого гробовщика; наконец, с герцогом Германтским, понимающим, какое одолжение он делает, придя в буржуазную семью, и приносящим свои соболезнования матери героя так угодливо и преувеличенно вежливо, что она, поглощенная своим горем, даже не замечает герцогских любезностей и бросает его одного в прихожей с посреди недоговоренной тирады. В таких сценах проявляется «монструозность» великого писателя: способность четко и бесстрастно анализировать, замечать одновременно все трагические и комические детали даже в самые драматические минуты жизни. Я представляю себе самого Пруста у изголовья умирающей матери, убитого горем и в то же время замечающего все детали, все слезы, все недостатки и комические подробности вокруг. Я уже упоминал о том, какую большую роль у Пруста играет психологический анализ района Сен-Жермен. Неслучайно Пруст восхищался, читал и перечитывал и даже знал наизусть фрагменты из герцога де Сен-Симона^[7] и Бальзака. Герцог де Сен-Симон в своих воспоминаниях об эпохе Людовика XIV в подробностях описывает дела и поступки, интриги и соперничество

тогдашних жителей Сен-Жермена. Принадлежащий к аристократической элите Сен-Симон знает, о чем пишет, и делает это с большой проницательностью, подмечая и фиксируя, как это свойственно большому писателю, нюансы и нелепости своего окружения. Положение Бальзака было иным. Его тянуло в Сен-Жермен, он был связан с женщинами этой среды, влюблен. Мечтал играть там роль знатного господина, миллионера, знаменитого писателя и сердцееда одновременно. Поглощенный работой, весь в долгах, с массой фантастических финансовых проектов в голове, которые регулярно оканчивались катастрофой, вечно скрывающийся от кредиторов Бальзак едва ли имел возможность понаблюдать за великосветским миром, пожить в нем. В короткие периоды передышки, когда в качестве гонорара за книгу или еще каким-то образом он получал внушительную сумму денег, он спешил по-мальчишески потратить их на изысканные костюмы, которые не всегда сходились на его большом животе вечного домоседа. Он покупал трости с набалдашниками из золота или слоновой кости, а Жорж Санд описывает один визит в новой квартире рядом с Обсерваторией, где Бальзак встречает ее в окружении канделябров и кружевных занавесок, что было, судя по всему, знаком сомнительного вкуса по меркам сен-жерменского общества. В том, как Бальзак рисует аристократию, есть множество точных и верных черт, но в то же время я нигде не нахожу такой напыщенности, такой наивной идеализации, такого изображения ангельских или, наоборот, inferнальных женских персонажей, словно сошедших с романтических полотен, например, Шеффера^[8], вместо реальных женщин из плоти и крови. Пруст, как и Бальзак, пришел в светский мир извне. Но насколько точнее он его анализировал, с какой несравненно большей отстраненностью оценивал! Это близкое знакомство с миром аристократии снова напоминает мне Толстого, который описывает высший свет в «Войне и мире», «Анне Карениной» и во множестве других произведений ясно и гораздо более реалистично, нежели сам Пруст. Пруст сосредотачивается на аристократии круга Германтов и брата герцога Германтского, барона Шарлю, начиная с принцессы Матильды, единственного исторического персонажа, фигурирующего под реальным именем, и заканчивая родителями и друзьями второго и третьего порядка, вращающимися вокруг солнца Германтов и демонстрирующими все оттенки снобизма, карьеризма и глупости. Снобизм анализируется у Пруста подробнее других характерных черт светского общества. Помимо парижских высших сфер Пруст рисует нам деревенскую аристократию, более простую и симпатичную, более близкую к реальной жизни, как, например, семейство Камбремер. Старая баронесса

— женщина простая, естественная, искренне любящая музыку и гордящаяся тем, что в юности была ученицей Шопена. Ее невестка, приехавшая из Парижа, — типичная носительница артистического снобизма. Не обладая никакими личными способностями к творчеству или художественному восприятию, которые связывали бы ее с искусством, она знает наизусть все общие места последней парижской моды. А Шопен сейчас не в моде. Поэтому робкая свекровь не решается даже говорить о нем. Она почти стыдится признаться, как она его любит, считая себя провинциалкой и ретроградкой, неспособной высказывать категорических и безапелляционных утверждений в духе своей невестки, парижской «интеллектуалки». И как трогает эта пожилая дама, когда молодой герой романа, приехавший с визитом к Камбремерам, человек, истинно любящий музыку, ловко и шутя разбивает категорические заявления невестки. С какой радостью и одновременно некоторой робостью решается она признаться ему в своей любви к Шопену. В этой сцене мы видим, как герой умеет отличать настоящее от напускного в отношении этих двух женщин к искусству. То же самое с живописью. Он забавляется тем, что ставит зазнайку в неловкие ситуации, потому что молодая дама уверена, что он знает гораздо больше нее и что молодые люди, как он, имеют доступ к самому источнику художественной моды. Умница заявляет о несуществовании Пуссена, что отражает новейшие натуралистические и антиклассицистские взгляды. Герой отвечает на это, что Дега (несомненный авторитет) утверждает, что Пуссен — один из величайших мастеров французской живописи. «Я пойду в Лувр, как только буду в Париже, мне нужно снова посмотреть на картины и обдумать эту проблему», — отвечает та в растерянности^[9]. Пруст деликатно дает нам понять, что эта женщина ничего не смыслит в искусстве, о котором говорит без умолку, что искусство для нее — лишь способ выглядеть интересной перед людьми еще более глупыми, чем она сама, и приобрести право смотреть с презрением на тех, кому искусство действительно не чуждо, но кто не разделяет ее передовых взглядов. Пруста, изображавшего снобизм во всех его формах и вариациях, самого при жизни и даже на основе его произведения называли совершенным снобом. Школьные приятели отвернулись от него в уверенности, что снобизм помрачил рассудок их друга. И даже спустя годы Мися Годабская-Серт^[10], блестящая женщина, подруга всех художников, от Тулуз-Лотрека до Пикассо и сюрреалистов, однажды за обедом в Мёрисе или Ритце в 1914 или 1915 году спросила Пруста, не сноб ли он, и на следующий день с удивлением получила огромное письмо

(конечно же, потерянное ею впоследствии), где Пруст на 8 страницах, исписанных плотным почерком, объяснял, насколько поверхностным был ее вопрос. Сколько бы мы отдали сейчас, чтобы иметь возможность прочесть это письмо, брошенное когда-то в корзину для бумаг! Позиция Пруста в жизни и в его произведении настолько многогранна, что называть ее снобизмом — ребячество. Сначала — влечение писателя к герцогине Германтской на фоне средневековых витражей церкви в Камбре^[11], затем любовь к той же герцогине, ослепительное сияние мира, который он для себя открывает, и наконец — самые горькие наблюдения, понимание и осознание всех их недостатков, мелочности, холодности, бессилия и глупости — все это есть в книгах Пруста. С какой тонкостью он улавливает, угадывает способности молодого племянника Германтов, военного, влюбленного в музыку и литературу, благородного в своем характере и во всех своих порывах юноши, который героически погибает на войне во время атаки. И в то же время с каким чувством юмора показывает он нам невежество и глупость светских аристократов всех мастей, добавляя разочарованно в одном из томов: «Он был бы очарователен, если бы не был так глуп». Впрочем, взгляд Пруста-писателя на высший свет столь же отстранен, я бы сказал, научно-объективен, как и на кухарку Франсуазу, на клан докторов или на собственную бабушку. Кухню Комбре, где царила Франсуаза, он сравнивает с двором Людовика XIV, короля-солнца, и с интригами при нем; говоря об аристократии, он обнаруживает сходства-наоборот. Пруст описывает встречу своего героя во дворе дома с хозяином, герцогом Германтским, который во время разговора не может удержаться, чтобы не смахнуть с бархатного воротника пальто собеседника приставших ворсинок несколькими чрезвычайно легкими и подобострастно вежливыми движениями руки. «Только у лакеев из богатых домов и представителей аристократической знати, — утверждает Пруст, — встречаются такие рефлексy по этому поводу»^[12]. Пруст не относит своей теории сходств исключительно на счет знатного происхождения аристократов и роли, которую они играли в Версале. Нужно отметить еще одну важную тему «В поисках». Это тема физической любви, самые потаенные и сумрачные стороны которой Пруст исследует. Все аномалии и перверсии рассматриваются им с аналитической дистанции, без приукрашивания или очернения. Его великий предшественник, Бальзак, уже осмеливался коснуться этих вопросов, впрочем, гораздо более сдержанно, в «Вотрене» и «Девушке с золотыми глазами». За двадцать лет послевоенной литературы мы настолько

привыкли, что нас порой даже утомляют и раздражают книги, повествующие о темах из области сексуальности в цинической или эксгибиционистской манере (Пруст — сама стеснительность, если сравнивать его с некоторыми фрагментами Селина). Поэтому нам сложно понять, насколько определенные страницы «В сторону Свана», затрагивающие лесбийскую любовь дочери Вентейля и увидевшие свет еще до 1914 года, или история великосветского барона де Шарлю, положение которого рушится из-за скандала а-ля Уайльд и которого мы видим в парижских притонах впавшим в крайние мазохистские отклонения, — насколько эти страницы, продуманные и составленные частично еще до войны 1914 года, были актом смелости. Пруст освещает своим аналитическим фонарем самые мрачные закоулки человеческой души, которые большинство людей предпочитают игнорировать. В этой сфере, как и в исследовании аристократии, или сыновней любви, или тайных механизмов художественного творчества мы узнаем Пруста с его восхитительной ясностью и аналитически тщательным и скрупулезным подходом, невиданным ранее. Я хотел бы сделать несколько выводов еще более показательных, чем остальные. В своей выдающейся форме Пруст преподносит нам мир идей, цельное мировоззрение, которое, пробуждая в читателе все его умственные и чувственные способности, требует от него пересмотра заново всей его системы ценностей. Уточню: как я уже отмечал, это не та или иная тенденция, прослеживающаяся в его творчестве. Ничто не чуждо Прусту более, нежели тенденциозность. Он часто сам повторяет, что передать существо писателя можно только посредством формы, доведенной до границ ее глубины. В последнем томе «Обретенного времени» Пруст мимоходом полемизирует с Барресом. Баррес был тогда предводителем круга молодых французских писателей-националистов и сам был большим писателем. В романах «Беспочвенные» и «Вдохновенный холм» Баррес подчеркивал национальный аспект литературы. Будучи лотарингцем по происхождению, он видел настоящее вдохновение только в земле, почве, в чистой французской традиции. (Именно против Барреса направлены критические заметки Андре Жида о беспочвенности, в которых он, наоборот, подчеркивает положительные результаты контактов с внешним миром). Баррес утверждал, что писатель никогда не должен забывать, что он писатель национальный, и обязан углублять национальную сторону своего творчества. Пруст походя отвечает ему на это фразой, которую я, увы, могу воспроизвести лишь неточно и в общих чертах, что неизбежно сделает ее банальной. Баррес утверждает, что писатель более, чем о писательстве, должен помнить о своей роли и миссии как француза. Когда ученый, который стоит на пороге открытия и

может сделать его, только приложив к исследованию все свои способности, он не в состоянии думать ни о чем другом. Так же и писатель: мерилom его отношения к своей стране являются не те или иные идеи, которые он высказывает, но достигнутая им степень развития формы. Даже у величайших мастеров бывает, что тенденциозная идея ослабляет воздействие произведения не только с художественной точки зрения, но и в отношении самой идеи, которой писатель пожелал служить. На нашем литературном пространстве есть тому примеры разительные и трагически поучительные: это Жеромский^[13] и Конрад-Коженёвский^[14]. У Пруста мы никогда не найдем ни малейшей склонности к морализму, ни малейшего проявления тенденциозности. И тем не менее его произведение зарождает во внимательном читателе целый мир идей и вопросов. Конрад, сын ссыльного польского революционера, родившийся в глубине России, человек, на протяжении всей своей жизни верный культу таких простых чувств, как верность и честь, вынужден был покинуть свою страну и свой язык, стать иностранным писателем в чужом мире, чтобы найти наконец ту атмосферу, в которой он смог создавать литературу без непосредственной тенденциозности, писать без дидактики. Жеромский больше всех сделал для того, чтобы Конрад стал известен в Польше, снова стал польским писателем. Но именно Жеромскому пришлось спорить с ним, как и Ожешко^[15], которая относилa Конрада к лагерю предателей, потому что тот покинул Польшу в тот момент, когда она более всего нуждалась в своих сыновьях. Жеромский, который кажется мне талантом не меньшим, чем Конрад, хотя и очень неровным, не покинул своей страны, любимой им больше всего на свете и больше искусства. Его произведения всегда были написаны с идеей, которую он хотел немедленно воплотить в жизнь на пользу своей стране, и к нему действительно можно отнести выражение Красинского^[16], сказанное им после смерти Мицкевича^[17]: «Он был кровью, молоком и медом нашего поколения». Но Жеромский был слишком большим художником, чтобы не понимать, что он нередко приносит в жертву совершенство своих романов ради целей хотя и благородных, но утилитарных. В своем эссе, опубликованном уже в свободной Польше, он сам признается с трогательным самоуничижением: «Мне так хотелось пробудить в моих согражданах сознание, подтолкнуть их к великодушию и героизму, что я повредил тенденциозностью и без того ничтожной художественной ценности моих произведений». Именно Жеромский прилагает все усилия для популяризации Конрада и пишет предисловие к его первому изданию в переводе на польский — «Негру с «Нарцисса»». Он распознал в

Конраде не предателя, а собрата, которому в свободном мире удалось воплотить то, чем самому Жеромскому пришлось пожертвовать и что в свободной Польше было самой необходимой пищей для молодых поколений. Вне поля польской литературы мы можем наблюдать губительное воздействие тенденции на писателя на примере, возможно, величайшего романиста нашей эпохи. В «Войне и мире» и «Анне Карениной» дидактика практически отсутствует. Толстой переделывает «Анну Каренину», пишет целую новую часть только для того, чтобы скрыть от читателя свое собственное мнение. Но в «Воскресении», его самом позднем большом романе, мы часто сталкиваемся со слишком явной дидактикой, автор так часто повторяет некоторые основные идеи, что на кого-то из читателей это может произвести и вовсе противоположное впечатление, и даже Толстой, снижая художественное качество произведения, вместо того, чтобы усилить, ослабляет действие своих идей. Пруст — наоборот. Мы не найдем у него совершенно никакой предвзятости, но желание познать и понять самые разнородные и противоречивые состояния души, способность заметить в самом низком человеке благородные, почти возвышенные жесты и, напротив, низменные инстинкты в самом чистом существе, поэтому его произведение действует на нас, как жизнь, профильтрованная и освещенная сознанием бесконечно более ясным и четким, чем наше собственное. Многие читатели Пруста будут удивлены, если я скажу, что идеологические выводы «В поисках», которые я лично вижу, — почти что в духе Паскаля. И я помню, с каким удивлением прочел статью Боя о Прусте, в которой Бой говорит о «преlestном» Шарлю и, судя по тону статьи, считает главными сторонами произведения юмор и радость жизни. Я едва ли успел что-то сказать о Паскале, но его совершенно анти-чувственный подход хорошо известен. Этот человек, снедаемый жаждой абсолюта, считал недопустимой всякую эфемерную радость без смысла. Гениальный физик, обласканный самым изысканным обществом Франции, наделенный врожденным тщеславием и честолюбием, Паскаль после одной ночи, которая навсегда останется его тайной, ночи постижения абсолютного сверхъестественного мира, будет до самой смерти носить на шее кусочек пергамента с несколькими словами: «Слезы, слезы радости». Паскаль порывает со всеми и вся и с присущей ему страстностью ударяется в экстремальный аскетизм, заточает себя в Пор-Рояле, изнуряет, мучает свое бедное больное тело. Пищу, которую ему приносят, он проглатывает так, чтобы не почувствовать вкуса, носит на себе железную цепь, более того — отказывается даже от своих самых высоких страстей — от математики, физики, даже от

литературы, лишь время от времени записывая несколько мыслей, идей, которые, собранные после его смерти, станут одной из самых лаконичных, глубоких и пламенных книг в мировой литературе. Паскаль порицает не только разнузданные или безнравственные чувства, а все чувства без исключения. Именно ему принадлежит ужасающая фраза: «Брак — самое низкое для христианства состояние». Может показаться парадоксальным, что я связываю паскалевские мысли с «В поисках...», книгами, целиком посвященными изучению чувств, содержащими тысячи страниц, написанных человеком, обожавшим чувственные радости земли, умевшим наслаждаться всем страстно, изощренно и одновременно сознательно до границ возможного. Мне известен ответ на маленькое неизданное письмо, написанный Прустом его школьному другу Даниэлю Алеви, видимо, ответ на морализаторские советы и ремарки последнего о том, что ему, Прусту, в жизни нужно лишь одно — насладиться утехами любви (физической). Вспомним, что центр Франции стал его первой литературной средой, что религия гедонизма великого французского писателя, несомненно, повлияла на формирование мира идей Пруста; что неоднократно отмечалось, что все творчество Пруста напрочь лишено всяких поисков абсолюта, что слово «Бог» упоминается у него всего лишь один раз на тысячи и тысячи страниц. И несмотря на это и даже, может быть, именно по этой причине прустовский апофеоз проходящих радостей жизни оставляет привкус паскалевского пепла. Герой «В поисках» отрекается ото всего не во имя Бога, не во имя веры, но он так же поражен внезапным откровением; он так же заключает себя, ни живого, ни мертвого, в пробковой комнате (я намеренно не различаю героя и самого Пруста, потому что в этом смысле они — одно), чтобы до самой своей смерти служить тому, что для него было абсолют — своему художественному произведению. Два последних тома («Обретенное время») так же орошены слезами радости, это тоже ликующий гимн человека, который отдал все свои богатства в обмен на одну-единственную драгоценную жемчужину и который знает, какова цена всего скоропроходящего, всех удовольствий и тщетных радостей мира, молодости, известности, эротической любви по сравнению с радостью творца, этого существа, строящего фразу за фразой, komponующего страницу за страницей в поисках абсолюта, которого он никогда не достигнет в полной мере и который недостижим по определению.

Тщетность светских отношений. Сван, идеал светского человека, серьезно заболевает и получает от врачей смертный приговор: ему остается жить не более двух-трех месяцев. Дело происходит во дворе у Германтов, в тот момент, когда герцог и

герцогиня торопятся на большой прием. Сван сообщает эту новость герцогине, своему лучшему другу, королеве тогдашнего Парижа. У супругов есть выбор — они могут выслушать смертный приговор их друга, но тогда рискуют задержать светский ужин. Чтобы не опоздать, они превращают дело в шутку, заявляя, что бедный Сван с лицом, как у трупа, выглядит прекрасно, и с этим оставляют его одного стоять на пороге своих роскошных владений. Мгновение спустя герцог замечает, что герцогиня надела не те туфли, что он ожидал на ней увидеть, что больше шли к ее красному бархатному платью и колье из рубинов. Свану не удалось задержать их даже на пару минут. Но неподходящим туфлям это удастся. Отъезд задерживается на четверть часа.

Тщетность аристократической гордости. В «Обретенном времени» Пруст описывает торжественный прием у тех же Германтов. Но место родовой принцессы, самого чистого существа в этой семье, известного своим исключительным изяществом и чувством стиля, занимает после ее смерти герцогиня Германтская номер два, из богатых буржуа, воплощение ханжества и снобизма, вульгарности и комичности, и все послевоенные гости, включая богатых американцев из-за моря, принимают и восхищаются ею, не подозревая, что знаменитая герцогиня Германтская и эта женщина не имеют между собой ничего общего, кроме имени и положения.

Тщетность молодости и красоты. «Времени невосполнимая утрата»^[18] — Одетта, очаровательная куртизанка, страсть Свана и многих других, а затем графа де Форшевиля, воплощающая на всем протяжении прустовского произведения женскую соблазнительность, в последнем томе изображена им почти выжившей из ума старухой, сжавшейся где-то в уголке салона своей дочери. Всю жизнь ее окружали блеск и почести, а теперь ее едва замечают. Каждый гость подходит к ней с глубоким поклоном, здороваясь, но затем сразу же начисто забывает о ней и даже позволяет себе громко говорить о ней с ехидством или насмешкой. А Пруст, который, как я не устаю повторять, всегда сохраняет свой жестоко-объективный взгляд, добавляет здесь неожиданно трогательно личное замечание: «И эта женщина, которую обожали, перед которой преклонялись всю ее жизнь, сейчас — руина, глядящая испуганным и смятенным взглядом на этот беспощадный мир во фраках и роскошных платьях, впервые кажется мне... симпатичной»^[19].

Тщеславие, пустота и слава. Великая актриса Берма, прототипом которой стала Сара Бернар, побудила Пруста написать уникальные страницы. Знаменитая актриса стара и больна; она

может выходить на сцену только под воздействием наркотиков, после чего проводит мучительные бессонные ночи в своем особняке на одной из парижских набережных. Лишь к утру ей удастся уснуть на несколько часов. Но ее любимая дочь, ради которой она только и терпит все эти пытки, хочет иметь такой же особняк, как у матери, по соседству с ней, поэтому с раннего утра там не прекращается стук молотков, и спать Берма не может. Тем временем актриса третьего ряда, но гораздо моложе нее занимает ее место. При помощи интриг, контактов и подлостей она завоевывает менее требовательную послевоенную публику. Приемным днем для светского общества она выбирает тот же самый день, когда принимает у себя старая Берма. Она собирается декламировать свои псевдомодернистские стихи на вечере, где собирается вся парижская богема. А старая гениальная актриса остается в своем салоне одна, не считая одного молодого человека, который не уследил за модой, своей дочери и зятя, злящегося, что его заставили провести этот вечер в компании старой матери вместо блестящего и многолюдного салона принцессы Германтской. Пруст описывает тонкие контуры ее напудренного лица, ее всегда живые глаза, «словно змеи в мраморе Эрехтейона»^[20]. Но решающий удар готовит ей любимая дочь. Она покидает салон матери, и вместе с мужем они без приглашения спешат на большой прием, а чтобы иметь честь наблюдать за триумфом злейшего врага ее матери, она, словно загнанный зверь, позволяет представить себя на приеме посреднице этой актрисы, которая счастлива уколоть и ранить Берму, презрительно протезируя ее дочери.

Тщетность любви. Приключения, страсти и беспутства любви — что дают они тому, кто полностью им отдался? Мы видим барона де Шарлю, стареющего, отвергнутого обществом, в публичном доме предающегося жутким мазохистским практикам, привязанного к ним, как Прометей к скале. А затем мы видим его же, впавшего в детство, в маленькой машине, слепого, переставшего ходить, его ведет жилетник Жюпьер, подозрительный друг его юности и владелец публичного дома, единственный, кто остался рядом со стариком и окружает его почти материнской заботой. Самая большая любовь героя «В поисках утраченного времени» — Альбертина. Тома «Под сенью девушек в цвету» полны описаний изящных прелестей совсем еще молодой Альбертины и ее спортивных друзей. В «Содоме и Гоморре» и «Альбертине»^[21] нас окружает мир любви, ревности, нежности, вызываемой молодой девушкой. «Беглянка» — это крик отчаяния, ожесточенное преследование девушки, ревнивое и болезненное расследование ее прошлого. А когда спустя почти год во время поездки в Венецию герой

узнает о внезапной смерти своей любимой, то едва обращает внимание на это известие, потому что другая женщина тронула его сердце на какой-то краткий промежуток времени. А с каким высоким отчуждением, которое, впрочем, не имеет ничего общего с гневом Паскаля, направленным против плоти, говорит о любви сам автор, столько страдавший, в конце своих многочисленных томов. Он говорит о ней, скорее, с точки зрения утилитарной, советуя предпочесть телесную любовь как лучшее средство от опустошающих светских радостей, от страсти к светскому общению, которое приносит самый большой беспорядок в жизнь художника. Пруст все сильнее настаивает: художник одинок, и он должен быть один. Даже ученики, даже последователи ослабляют художника, а поскольку его взгляд на любовь был абсолютно пессимистичен, поскольку он видел в ней лишь причину «Милой раны и растущего сознания одиночества», в этой области чувств он, по-видимому, именно телесной радости решает в какой-то степени уступить. И в тот момент, когда он решает похоронить себя в своем произведении, покинув мир и все его мимолетные радости, он говорит себе, что, возможно, все же будет позволять себе время от времени свидания с очаровательными юными девушками, чтобы не походить на античную лошадь, которую кормили одними розами.

Если мы хотим угадать, каковы были последние мысли Пруста о жизни и смерти, такие, какие рождаются у человека, обремененного долгим опытом, когда он сам приближается к смерти, то ключ мы можем найти в Берготе, персонаже второго плана. Бергот в «Поисках...» — большой писатель, мастер французского слова, воплощение литературы в глазах юного героя. Материал, который использует Пруст при создании этого героя, связан с изучением Анатоля Франса и наблюдением за ним, поскольку у Бергота немало похожих черт, но также и с личным опытом самого Пруста, Пруста позднего периода. С Берготом мы знакомимся уже в книге «В сторону Свана». Герой открывает в нем для себя любимого писателя и мечтает с ним познакомиться. Мне кажется, впервые это происходит в томе «У Германтов»^[22], в салоне Одетты, тогда уже мадам Сван. Герой узнает его в старом друге Свана, он разговаривает с ним чрезвычайно учтиво и, заканчивая визит, уводит его в свою машину. Встреча поначалу разочаровывает Пруста, что, впрочем, вполне понятно. Этот человек из плоти и крови имеет мало общего с мастером, с которым юноша так долго мечтал познакомиться. Его поражает, что Бергот в машине начинает с изяществом, отстраненностью и легкостью говорить про Свана, своего близкого друга, гадости молодому человеку, которого он видит впервые в жизни. Это становится для Пруста поводом с присущей ему ясностью и четкостью ума

проанализировать слабость, низость и лживость, так часто свойственные художникам. В последующих книгах мы видим Бергота постаревшим, на пике славы, его творческие силы иссякают. Сейчас, когда он пишет все меньше и хуже, с несравнимо большим усилием, а ощущение радости и внутренней необходимости куда как ослабело, он любит повторять одну фразу: «Я думаю, что, написав эти книги, я был полезен моей отчизне»^[23], фразу, которой он никогда не говорил, создавая свои шедевры. Во всех этих деталях и психологических ремарках чувствуется, прежде всего, не сам Пруст, но Анатоль Франс (и, может быть, еще Баррес) как прототип персонажа. Но в «Альбертине» и «Беглянке» мы вплотную приближаемся к физическим и духовным состояниям самого Пруста, читая о последней болезни и смерти Бергота. Эти страницы находятся в последнем томе, который Пруст редактировал перед своей смертью, а мы знаем, что гранки Пруст часто исправлял очень сильно. Он добавлял, переписывал или вычеркивал десятки и даже сотни страниц. Впрочем, этим же недостатком страдал и Бальзак. Пруст в деталях описывает все надежды и разочарования, сопряженные с отношениями больного с доктором. Он перечисляет здесь все виды сна, все наркотические вещества и снотворные, которыми пичкает себя Бергот на пороге смерти, измотанный бессонницей. Некоторые черты последнего этапа болезни Бергота были дописаны Прустом всего за несколько дней до его собственной смерти. Смерть настигает Бергота на выставке великого голландца Вермеера, его и Свана любимого художника. Случайно мне довелось узнать о том, что за несколько лет до смерти Пруста, уже после войны, его друг, писатель Жан-Луи Водуа^[24], повел его на выставку голландцев, и там у Пруста случился серьезный сердечный приступ. В «Альбертине» Бергот решает еще раз перед смертью взглянуть на полотна Вермеера, хотя и знает, что в его состоянии поход на выставку — дело крайне рискованное. Едва войдя в зал, он полностью погружается в волшебное очарование, китайскую утонченность и точность, нежную музыку этих картин. Счастливый от восторга, он останавливается перед пейзажем, изображающим домики на пляже на берегу моря. Он видит крошечные голубые фигурки на желтом песке, небольшой фрагмент желтой стены, на который падают золотые солнечные лучи. И здесь он сдает свой последний экзамен как писатель. «Кусочек желтой стены, кусочек желтой стены, тихо повторяет Бергот, вот как мне надо было писать мои книги, снова и снова возвращаясь к написанному, переделывать, обогащать, наслаивать, как на этом кусочке стены. Я писал слишком сухо, обрабатывал недостаточно тщательно»^[25]. И

тем же тихим голосом Бергот-Пруст произносит фразу, которая поражает нас тем сильнее, что слышим мы ее от ученика Анатоля Франса: «Какой смысл в этой упорной работе над едва уловимыми деталями, работе почти что неизвестного художника, к чему это неустанное совершенствование, которого, возможно никто не заметит, не поймет, не увидит в полной мере? Как если бы мы жили по законам справедливости, абсолютной истины и идеального мастерства, созданным в другом мире гармонии и правды, лучи которого проникают на землю и направляют нас»^[26]. Для не столь внимательного читателя, не осознающего степени ответственности Пруста за каждое предложение, эта фраза может остаться незамеченной или показаться несущественной. Но мы знаем, что эти страницы редактировались перед самой смертью Пруста, что они — брильянт редкой огранки среди тысяч страниц этого ученика автора «Восстания ангелов»^[27]. Здесь нам неожиданно приходит на ум другая ассоциация, другой великий писатель, писатель, с самого начала и до конца своего творчества одержимый одним вопросом — вопросом Бога и бессмертия. «Многое в жизни скрыто от нас», — говорит Достоевский устами Зосимы в «Братьях Карамазовых». «Но взамен нам даны глубокое внутреннее чувство и живая связь с другим, высшим миром, и даже корни наших мыслей и чувств — не здесь, а в других мирах»^[28]. Достоевский добавляет, что все в нас живет благодаря глубокому чувству этой связи, что исчезни оно, и мы станем безразличны к жизни, даже начнем ненавидеть ее. В тот самый момент, когда Бергот понимает, каким должно быть искусство, когда он обзорекает все написанное им, все достоинства и недостатки своих прошлых произведений в свете маленького фрагмента желтой стены на картине дельфтского художника, он чувствует, что с ним сейчас случится сердечный приступ. Он пытается сесть на ближайшую банкетку, повторяя себе, что это ничего, что это, вероятно, следствие плохого пищеварения — зря он съел несколько картофелин. Но это длится лишь несколько секунд. Его самочувствие резко ухудшается, и, не дойдя до банкетки, он падает замертво. И тут Пруст снова бросает свою коронную фразу: «Бергот мертв, мертв совсем?»^[29] И дальше он развивает предыдущую мысль, которая напомнила нам Достоевского, добавляя, что не исключено, что Бергот не исчезнет и не растворится полностью. И заканчивает возвышенной поэтической фразой, которой я не в состоянии передать вам в точности: «И всю ночь, во всех освещенных витринах парижских книжных магазинов его раскрытые книги, по три в ряд, осеняли, словно

ангелы с распростертыми крыльями, тело покойного писателя»^[30]. Смерть Бергота и долгая болезнь, предшествующая ей, сливаются в памяти с близкой смертью самого Пруста, и я хотел бы закончить эти воспоминания несколькими запомнившимися мне подробностями. В последние годы болезнь Пруста все усиливалась. Друзья не понимали всей серьезности положения, поскольку в те редкие моменты, когда они виделись, Пруст блистал, был полон энергии и огня. Его произведение начинает выходить том за томом и поражает читателей. Вот как описывает Пруста в последние годы его жизни Леон-Поль Фарг: во фраке, с лицом зеленоватого оттенка, с иссиня-черными волосами на приеме у Миси Годабской-Серт на фоне фиолетово-серебряных декораций Боннара. Фарг замечает, что этот Пруст сильно отличается от того нервного светского юноши, каким он знал его до войны, что у него появилось что-то удивительно зрелое в улыбке и позе. В нем чувствовалась дистанция, отстраненность, уверенность. К последним годам относится также письмо Пруста, о котором Мориак упоминает в своем «Дневнике»: «Я хочу вас видеть. Я несколько недель не выходил, едва встаю с постели, я был почти мертв». И Пруст подчеркнул в своем письме слово «мертв». Из-за того, что Пруст болел всю свою жизнь, это легко можно было бы принять за литературную гиперболу, а не правду. Но врачи видели, что его состояние ухудшается день ото дня, усугубляемое «ужасной гигиеной труда», потерей всякой веры в лекарства и режим, который они хотели ему навязать. Он впадал в жуткую ярость, когда его друг-врач пытался заставить его лечиться. Он не мог не понимать, что в том состоянии, в каком он находился, огромное лихорадочное усилие, которого требовала от него концентрация на произведении, ускоряло приближение смерти. Но он сделал свой выбор, не обращал на это внимания и был совершенно равнодушен к смерти. Она застала его так, как он того заслуживал — за работой. Утром его нашли мертвым в постели. На ночном столике лежала опрокинутая бутылочка с лекарством, залившим клочок бумаги, на котором своим мелким нервным почерком он той ночью записал имя даже не второстепенного персонажа «В поисках...» — Форшевиля.

Перевод с французского Анастасии Векшиной

-
1. «Пленница», 1923 г.
 2. «Но речь идет не о том, чтобы приучать, — сказал отец, пожимая плечами, — ты же видишь, что он огорчен, у него

совсем несчастный вид, у этого малыша; не палачи же мы, в самом деле! Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни! Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проводи эту ночь с ним. Ну, покойной ночи; я не такой нервный, как вы, усну и один». — «В сторону Свана», 1913, пер. А. Франковского.

3. Шарль Хаас (1833–1902). «Он принадлежал к той категории бесполезных бездельников-интеллектуалов, которые были роскошью в тогдашнем обществе и главная заслуга которых состояла в том, чтобы распространять сплетни перед ужином в «Жокее» или у герцогини де Тремуаль. Если отсутствие всякого занятия не было для него принципом, то его ум оправдывал в его глазах все его амбиции». (Бонифас де Кастелян).
4. Музыкант Вентейль — вымышленный персонаж, прототипом которого отчасти является Камиль Сен-Санс. По поводу сонаты: «Медленным ритмическим темпом она вела его, сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью — благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно-нежным, стала увлекать его к каким-то безбрежным неведомым далям. Потом она исчезла. Он страстно пожелал вновь услышать ее в третий раз». — Глава «Любовь Свана» («В сторону Свана»), 1913, пер. А. Франковского.
5. «Восхищенная виртуозностью исполнителей, графиня воскликнула, обращаясь к Свану: "Это изумительно! Я никогда не видела ничего более потрясающего..." Но желание быть безукоризненно точной заставило ее исправить свое первое утверждение, и она сделала оговорку: "...ничего более потрясающего... кроме вращающихся столиков!"». — «В сторону Свана», 1913, пер. А. Франковского.
6. Название одной из глав «Содома и Гоморры», 1921–1922.
7. Выше также имеется в виду Луи де Рувуа, герцог де Сен-Симон (1675–1755), мемуарист и хроникер версальского двора времен Людовика XIV и Регентства, а не философ и социолог Анри Сен-Симон (1760–1825). — Примеч. пер.
8. Ари Шеффер (1795–1858) — французский художник и график голландского происхождения, автор исторических и вдохновленных академическим романтизмом полотен.
9. «Но ведь, — начал я, сознавая, что единственный способ

реабилитировать Пуссена в глазах маркизы де Говожо — это довести до ее сведения, что он опять в моде, — Дега утверждает, что, по его мнению, нет ничего прекраснее картин Пуссена в Шантильи». — «А что это такое? Я не знаю его шантильийских работ, — сказала маркиза де Говожо, — я могу судить только о луврских, и они ужасны». — «А Дега в полном восторге и от них». — «Надо еще раз посмотреть. Я их подзабыла». — «Содом и Гоморра», 1921-1922, пер. Н. Любимова.

10. Мися (Мария) Годабская-Серт (1872–1950) — полька, пианистка, кумир всего Парижа, вдохновлявшая Пруста и Кокто. Она помогла молодому Юзефу Чапскому и его друзьям-капистам (К.П. — Комитет парижской помощи студентам-художникам, уезжающим на учебу во Францию — примеч. пер.) выставиться в Париже в 20-х годах.
11. Комбре
12. «Однажды герцогу Германтскому понадобилась справка из той области, которая входила в компетенцию моего отца, и герцог представился ему с отменной учтивостью. После этого он часто просил отца сделать ему то или иное одолжение, и когда отец спускался с лестницы, думая о делах и стараясь избежать встреч, герцог бросал своих конюхов, подходил во дворе к моему отцу, с услужливостью, унаследованной от прежних королевских камердинеров, поправлял ему воротник пальто, брал его, взбешенного, не знавшего, как вырваться, за руку и, держа в своей, даже глядя ее, чтобы с бесцеремонностью царедворца показать, что его драгоценная плоть не брезгует такого рода прикосновениями, провожал до самых ворот». — «У Германтов», 1920–1921, пер. Н. Любимова, А. Франковского.
13. Стефан Жеромский (1864–1925) — выдающийся польский писатель, высоко ценимый за свой натуралистический и лирический стиль, произведения которого отмечены пессимизмом из-за последовательных поражений польских восстаний. Автор романов «Пепел» и «Канун весны».
14. Теодор Юзеф Конрад Наленч-Коженёвский (1857–1924), более известный под псевдонимом Джозеф Конрад, английский романист польского происхождения, автор романов и рассказов, связанных со страстью к путешествиям, в частности, «Лорд Джим» и «Теневая полоса», написанных по-английски.
15. Элиза Ожешко (1841–1910) — польская писательница-позитивистка, поднимавшая такие социальные вопросы как эмансипация женщин, права евреев, сотрудничество

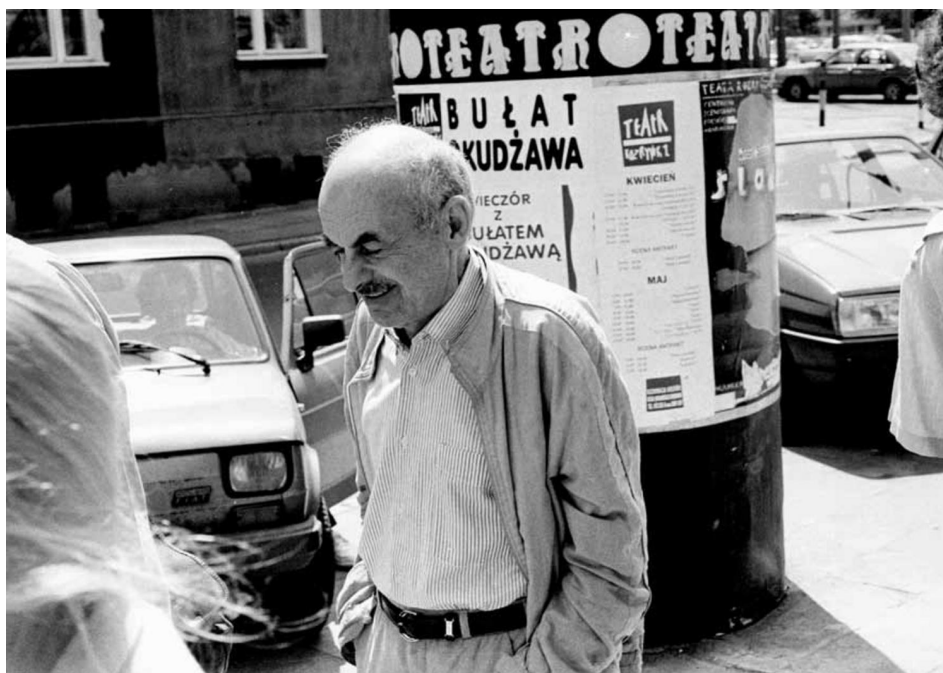
простого народа и аристократии. Среди ее произведений — «Над Неманом» и «Меир Езофович».

16. Зигмунт Красинский (1812–1859), выдающийся польский поэт-романтик, автор романов и драм исторического и философского содержания, из которых наиболее известны «Небожественная комедия» и «Иридион».
17. Адам Мицкевич (1798–1855) — известнейший польский поэт и патриот Польши, автор романтических, эпических, лирических и драматических поэм, главные из которых — «Конрад Валленрод», «Гражина», «Дзяды» и «Пан Тадеуш».
18. «Годов невосполнимая утрата», Жан Расин (из Плавта), «Аталиа», II, 5.
19. Юзеф Чапский вспоминает длинный пассаж из «Беглянки» (1925), который заканчивается так: «Мое новое «я», когда оно росло под тенью прошлого «я», часто слышало, как это прошлое «я» говорит об Альбертине, и ему представлялось, что сквозь него, сквозь рассказы, которые то «я» подбирало, проступают черты Альбертины, и она была ему симпатич-на, оно ее любило, но то была любовь опосредствованная». — пер. Н. Любимова.
20. «В тот день, когда я в первый раз увидел его у родителей Жильберты, я рассказал Берготу, что недавно видел Берма в «Федре»; он сказал мне, что в той сцене, где она застывает, подняв руку до уровня плеча, — одной из сцен, в которых ей так аплодировали, — ей удалось воскресить благородные формы великих произведений искусства, быть может, никогда ею не виданных: Геспериду с метопы в Олимпии, делающую тот же жест, и прекрасных дев древнего Эрехтейона». — «Под сенью девушек в цвету», 1919 (Гонкуровская премия), пер. А. Франковского, Н. Любимова, Е. Баевской, А. Фёдорова.
21. «Пленнице», 1923.
22. Рассказчик «В поисках» слышит имя Бергота в томе «В сторону Свана», а встречает его впервые в «Под сенью девушек в цвету», 1919.
23. «Несмотря ни на что, я вполне уверен, что это было бесполезно для моей страны». — Там же.
24. Жан-Луи Водуайе (1883–1963) — французский романист, поэт, эссеист и историк искусства.
25. «Вот как мне надо было писать, — сказал он. — Мои последние книги слишком сухи, на них нужно наложить несколько слоев краски, как на этой желтой стенке». — «Пленница», 1923, пер. Н. Любимова, А. Франковского, С. Толстого.

26. «Единственно, что тут можно сказать, это что все протекает в нашей жизни, как будто мы в нее вошли с грузом обязательств, принятых нами на себя в предыдущей жизни; в условиях нашего существования на земле нам нет никакого смысла считать себя обязанными делать добро, быть деликатными, даже вежливыми, нет никакого смысла неверующему художнику считать себя обязанным двадцать раз переделывать часть картины, восхищение которой будет довольно — таки безразлично его телу, съеденному червями, так же как часть желтой стены, которую он писал во всеоружии техники и с точностью неведомого художника, известного под именем Вермеера. Скорее можно предположить, что все эти обязательства, которые не были санкционированы в жизни настоящей, действительны в другом мире, основанном на доброте, на совести, на самопожертвовании, в мире, совершенно не похожем на этот, мире, который мы покидаем, чтобы родиться на земле, а затем, быть может, вернуться и снова начать жить под властью неизвестных законов, которым мы подчиняемся, потому что на нас начертал их знак неизвестно кто, законов, сближающих нас своей глубокой интеллектуальностью и невидимых только — все еще! — дуракам». — Там же.
27. Поучительная сказка Анатоля Франса (1914).
28. «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе». — «Братья Карамазовы», 1879–1880.
29. «Он был мертв. Мертв весь? Кто мог бы ответить на этот вопрос?» — «Пленница», 1923, пер. Н. Любимова, А. Франковского, С. Толстого.
30. «Его похоронят, но всю ночь после погребения, ночь с освещенными витринами, его книги, разложенные по три в ряд, будут бодрствовать, как ангелы с распростертыми крыльями, и служить для того, кого уже нет в живых, символом воскресения». — Там же.

Булат Окуджава: «Это моя ЖИЗНЬ»

Беседовал Гжегож Пшебинда



Булат Окуджава, май 1993 г. Фото: Agencja Gazeta

В конце ноября 1994 г. в московской квартире Булата Окуджавы в Безбожном переулке я записал разговор с ним, который затем появился в переводе на польский (в сильно сокращенном виде) в краковском еженедельнике «Тыгодник повшехны» (1995, 23 июля). Сегодня, может быть, стоит опубликовать этот сохранившийся на магнитофонных кассетах документ в возможно более полном виде. Это, как я сегодня вижу, не интервью, а живой разговор, происходивший за неделю до первой чеченской войны.

Гжегож Пшебинда

— Булат Шалвович! Вы говорите, что Москву любить нельзя.
— Нет, Москву нельзя любить. Хотя я москвич и всегда любил свою улицу, свой дом, еще несколько переулков, знакомых мест. Но я прожил в Москве 70 лет и знаю только десятую часть Москвы. Это мегалополис, совершенно нелепый, искусственный, громадный. Не приспособленный для человека.

Любить нельзя, а может, и стоило бы...

— *А вот студенты, мои друзья, приехали в Москву впервые два года тому назад, побыли здесь недельку, потом приехали на год, а теперь в Кракове тоскуют по Москве. Они говорят, что чувствуют здесь историю.*

— Историю — да! Но как заурядному обывателю жить — мне это неинтересно.

— *Рядом с домом, где я всегда останавливаюсь в Москве, есть мемориальная доска: здесь жил до 30-го года Булат Окуджава... Значит, вы жили на Арбате до 40-го года, а потом уже никогда?*

— Потом — никогда. Это не мемориальная доска, это просто такое неофициальное... Это молодежь сделала. Есть такая группа людей, которые ко мне хорошо относятся. Они в день моего рождения собираются в моем дворе и поют песни мои там...

— *Значит, 16 лет вы прожили на Арбате. Можете сказать несколько слов об этом?*

— Почему нет? Это моя жизнь. Это мое детство и юность. И конечно, я был влюблен в свою улицу, в свой двор, и долго идеализировал это, и только потом стал понимать, что Арбат — не такая симпатичная улица. Это была главная магистраль, по которой проезжал Сталин. В Кремль из Кунцева. Поэтому на Арбате было очень много агентов: во всех дворах, во всех воротах, в дверях — всюду. Потом многих людей арестовывали: их окна выходили на Арбат, и их подозревали в попытке покушения на Сталина. Арестовывали или переселяли в другие районы. Но тогда я ничего этого не знал. Арбат мне нравился.

— *Читая вашу книгу „Будь здоров, школяр!“, я впервые узнал (я был очень молод), что люди в 17 лет шли на войну. И это тоже факт из вашей жизни.*

— Конечно. Я был очень красный мальчик. Очень красный! Хотя у меня были арестованы родители как враги народа. Но я считал, что наше ЧК не ошибается, — значит, что-то есть.

— *В этой книге мир представлен наивно. Рассказчик как бы смотрит на жизнь глазами этого мальчика...*

— Я был наивен. Я все так себе представлял.

— *Вы, наверное, не раз рассказывали о своей родословной. Но подрастают новые поколения... Скажите несколько слов об этом.*

— Отец мой был грузин, мать — армянка. Но оба они из Тбилиси, раньше это называлось Тифлис. Они очень рано, совсем юными, вступили в партию, находились в подполье, вели подпольную работу. Были такие, значит, революционные романтики. Слепые. Многого не понимали, грамотность была не очень высокая. В общем, честно и бескорыстно служили революции. А потом отец мой окреп на партийной работе, потом его арестовали, и пришло возмездие. Его расстреляли. Потом арестовали мать, и она 19 лет провела в лагерях. Я был

сын „врагов народа” со всеми вытекавшими отсюда последствиями.

— А как вы смотрите на тот конфликт, который происходит теперь на этих землях, в Грузии, в Абхазии?

— Знаете, меня это не удивляет. Меня это очень огорчает, но совершенно не удивляет: я очень хорошо знаю нашу страну и знаю, что это не грузины и абхазы, а это все советская школа. Психология людей резко переменилась, и дружба народов, о которой мы говорили, — это был такой удобный политический флер из-под палки.

— Вы думаете, что без советской власти не было бы всего этого? Этих кровавых конфликтов?

— Такого не было бы.

— Значит, Солженицын прав, когда говорит, что Ленин начал эту бойню...

— Нет, Ленин не начал. Ленин воспользовался, потому что это все было. Но не в такой степени. А советская власть все это усугубила и превратила в сегодняшний кошмар. Но ведь советская власть не создала новой психологии.

— По сравнению с царской Россией?

— Нет, новой психологии не создала. Она просто использовала уже имевшуюся почву, удобную для нее, и развила, усугубила.

— Вы считаете, что в области психологии советская власть ничего нового не привнесла?

— Нового — нет. Она просто усугубила то, что уже существовало. Большевики были... И я тут не могу согласиться с Солженицыным, потому что он склонен идеализировать дореволюционную Россию. Нет, это все в ней уже было, конечно. Они были не глупые люди, они прекрасно понимали, с кем они имеют дело и как с кем нужно разговаривать.

— Продолжало ли советское государство во всем существенном традиции царской России? Или частично?

— Не думаю, что во всем, но частично, конечно, продолжало. Потому что Россия, к сожалению, была в течение нескольких веков страной рабской. Создавалась определенная психология, и это нельзя изменить в один день. И этим воспользовались. У меня нет возражений против всего, что говорит Солженицын, но мне кажется, что у него есть элементы идеализации прежней России.

— В области экономической ведь Россия стояла неплохо в 14-м году, до Первой мировой войны.

— Да. Потому что русская буржуазия создавалась стремительно, под влиянием исторических обстоятельств и условий, и быстро росла. Жизнь заставляла. Но психология в связи с этим абсолютно не менялась. Приспосабливались люди к новым условиям, к новой жизни. И поэтому большевики, когда пришли, эти негативные стороны использовали в своих целях.

— *Вы затронули вопрос экономики и духовной жизни. Правильно говорят, что прежде всего духовные ценности, нравственность, а потом экономика. Но, с другой стороны, без хорошей экономики, без хорошего хозяйства духовные ценности не слишком процветают.*

— Конечно. Все должно параллельно развиваться. Но я в экономике очень не силен. Мне трудно об этом говорить. А что касается духовности России — знаете, это сложный вопрос. Нас всегда учили кичиться духовностью России. И не только духовностью. Вообще приоритетами России во всех областях. Нас учили кичиться. Мы так росли. Я себя помню. Я так рос. И для меня это было совершенно нормально. Мы — первые во всем. Мы — самые лучше. Мы не совершаем ошибок. Мы не терпим поражений. Только побеждаем. Так воспитывалась нация, народы, населяющие эту страну. А потом начались поражения. Уже в момент перестройки мы стали узнавать о многих поражениях. И наступил шок. Очень полезный. Очень болезненный, но полезный. Вообще поражения — хорошие учителя!

— *Если бы задать вопрос, кто виноват?... Все слои России?*

— Конечно! Россия сама виновата.

— *Значит, и царская власть, и революционеры, и интеллигенция...*

— Вообще Россия виновата. И сваливать на какого-то Иванова-Петрова, на конкретных личностей — это смешно. Но у России никогда не было иммунитета против зла.

— *А Церковь, играет ли она существенную роль теперь в жизни страны?*

— Сейчас? Нет. Пока нет. Ведь Церковь — это один из инструментов нашего государства, нашей структуры... Он такой же больной, как все общество. И этому инструменту тоже надо выздоравливать, лечиться, приходить в себя.

— *Значит, как я понимаю, есть пустое место, которое Церковь должна заполнить?*

— Она не справляется. Она сама не готова, и общество к ней не готово. Есть отдельная часть общества, которая решила, захотела пойти в Церковь и поверить в Бога. Но это неофитство, это чисто внешне.

— *Вы часто говорите, Булат Шалвович, что вы атеист, что вы так воспитаны... В смысле ваших «официальных» отношений с Господом Богом — я понимаю, что вы определяете себя как атеиста. Но, когда я слушаю ваши песни, для меня они звучат как доказательство существования Бога. И мне кажется еще, что, если вы умеете так радоваться существованию мира сего, любви человеческой, общению людей друг с другом, значит, и вы каким-то способом веруете в этот высший смысл жизни?*

— Очень может быть, что это происходит помимо моего сознания. Но я до сих пор — я так был воспитан, — я до сих пор

не могу представить себе Бога. Понимаете? Не могу. И слава Богу, что я не притворяюсь. В угоду моде... Я не могу себе этого представить. Мне Церковь совершенно неинтересна, кроме музыки. Вот песнопения церковные люблю, но не потому, что они религиозные, а просто как великую музыку. Я люблю это слушать.

— *Но если человек может сотворить такое, если мир так прекрасен и жить хорошо...*

— Но вот для меня нет Бога. Для меня есть... ну, логика природы, логика развития природы. Для меня это существует, не познанное мной. Я и не пытаюсь представить себе Бога как личность, как существо, я не могу. Хотя я совершенно не пытаюсь навязать свою точку зрения кому-нибудь и очень уважаю истинно верующих людей. Не притворяющихся, а истинно верующих. Но моя вера вот какова. И я хочу, чтобы меня уважали тоже.

— *Как долго вы живете здесь, в этом Безбожном переулке?*

— Этот переулок был Протопоповский до 23-го года. А в 23-м его называли Безбожным, и тогда это было логично. А сейчас это ужасно. Безграмотность была причиной многих ужасных вещей. Но это логично было, логично в те годы. А в последующие годы, конечно, все это уже стало приобретать вид кощунства.

— *Давайте о ваших песнях... Вы еще заявляете, что петь уже не будете, и все-таки, слава Богу, поете... И приезжаете в Польшу, и поете с гитарой, и вся Польша слушает, молодежь, студенты, которые никогда раньше вас не слышали, вдруг начинают петь... И теперь я читаю в «Русской мысли», что вы были в Париже и там у вас был концерт.*

— Я вам скажу: я очень часто заявлял, что все, больше писать песни не буду. Для меня это было, знаете, хобби всегда. Это не было главной моей профессией. Ни играть на гитаре я не умею, ни певец я. Но пел, пел, нравилось, а мне уже надоело. Вот и постепенно-постепенно я переставал писать. Но потом природа делала свое дело. Она меня заставляла, и у меня снова появлялись песни, и опять... Но последние 8 лет я песен не писал. И когда я выступал, я исполнял старые песни.

— *Публика была, конечно?*

— В Париже? Ну-у-у! Забито все было. Но я на этом концерте, а до этого в Америке исполнил новую песню. За 8 лет у меня появилась одна песня. Я ее исполнил. Очень она понравилась публике. Может быть, я опять буду...

— *Может быть, будете еще.*

— Я не говорю — «нет» — категорически. Бывают периоды, когда не хочется и все. Да и возраст уже... Знаете, выступать с гитарой... И голос сел...

— *А вы знаете, как отмечали в Польше ваш день рождения? По*

радио почти весь день передавали ваши песни. В нашем институте люди говорят, как время быстро течет, Булату уже 70 лет. Расскажите теперь о себе как об авторе исторических романов. «Дайте дописать роман до последнего листочка!» Ваш роман о декабристах... Связи, которые идут красной нитью от Пестеля до большевиков...

— Когда мне предложили написать роман о Пестеле, я жил очень плохо. Это был хороший гонорар, и я согласился. Согласился, а потом думаю, что ж я делаю?! Я не прозаик, и как я буду писать!? Ну, конечно, пошел в архивы, взял там всякие книги и стал изучать декабристское движение. И когда я познакомился с жизнью Пестеля, он мне очень не понравился. Он меня очень разочаровал. И тогда у меня возник новый герой. Главный герой, писарь Авросимов. А насчет большевиков, я не могу сказать, что все декабристы у меня ассоциируются с большевиками. Но Пестель был, конечно, предтеча большевиков, и Ленин — продолжатель его дела. У Пестеля в «Русской правде» была такая статья, где говорилось, что когда они возьмут власть, то надо все малые народы выслать в Сибирь. Они им мешали.

— Может ли история быть для народа учительницей жизни?

— Для русского народа? Не думаю... Ну, может быть, отдельные представители общества, сознательные и думающие, мыслящие, они это поймут, или понимают, или будут интересоваться историческим процессом, а широкие слои — нет.

— Значит, исторический процесс происходит иррационально?

— Да, иррационально, конечно. Особенно в России. Вот Солженицын хочет сказать, предостеречь, что мы накануне революции... А кто знает, что значит «накануне революции»? Никто этого не знает. Для них это пустые слова образованных людей, которых Россия всегда презирала.

— А что опасно для России теперь? Возможна ли фашизация страны?

— Вы знаете, есть и приятные для меня обстоятельства, которые я наблюдаю, и есть неприятные. Неприятные — это мое знание истории и, в общем, пессимизм в отношении российского общества. Я думаю, что возможен и фашизм в своеобразной форме, и все что угодно. Но, с другой стороны, три года тому назад происходили выборы в Верховный совет и баллотировались несколько отвратительных людей.

Отвратительных! И я понял, что дело наше плохо: если эти люди будут депутатами, то это уже конец. Но никого из этих людей не выбрали. Значит, люди не дураки все-таки, я подумал. Вот это немножко утешает.

— А казус Жириновского, который так беспокоит людей вне России. Вы вообще думаете об этом? Это для России типично или

нет?

— Не знаю, в России все может быть, но что касается Жириновского... В России очень быстро надоедают люди. Очень быстро. Сначала им кричат «Ура!», а потом перестают кричать и занимаются своими делами. И уже кричат «Ура!» другому человеку. Вот он уже надоел. Он клоун. На самом деле он умнее, чем выглядит.

— *Он нервный, мне кажется, он нервничает...*

— А может быть, не нервничает, а изображает нервничающего... Во всяком случае он очень быстро стал знаменитым и все делал для того, чтобы стать знаменитым. Может быть, если понадобилось бы раздеться голым и пройти по улице, он бы разделся, чтобы его знали хорошо. Вот как Лимонов, например.

— *А Лимонов, что же он такое теперь? В Польше никто не знает о нем.*

— Ну, был такой... Поэт был в Москве. Неизвестный. Приехал из Харькова. Жил тут среди поэтов. Зарабатывал тем, что шил брюки. Потом уехал на Запад, стал писать прозу. Потом он захотел — ну, тщеславный человек! — захотел, чтобы его все хорошо знали: приехал сюда и впутался черт знает во что. Он теперь выступает за Сталина и советскую власть. Он прохиндей, конечно, но, в общем, он хочет завоевать популярность в России, потому что его никто не знал. Ему надо было шум устроить, и он устроил шум. Для примера, возьмите какую-нибудь националистическую группировку. Из кого она состоит? Она состоит из 99% темных людей. А 1% во главе — это образованный человек, который хочет стать вождем. Вот и все. И это всегда так. Во главе встают мыслящие люди, грамотные люди. И они распространяют свое влияние на темных людей.

— *Но посмотрите, какие теперь у России проблемы в так называемом ближнем зарубежье. Судьба русских в Казахстане, в Прибалтике действительно нелегка... Никто не будет противоречить этому. Однако здесь, в Москве, бабушка в метро, которая заметила мой якобы латышский акцент, отнеслась к этому с нежностью. Значит, у нее нет этого отношения?*

— Нет, у нее нет и не будет, и у латышей нормальных не будет... Но вдруг в Югославии... — разве не было всего этого?

— *Вдруг они начинают резать друг друга.*

— Нет, простите меня, в том-то и беда, что это было и раньше. Это было в глубине.

— *На каком уровне?*

— В глубине, на бытовом уровне. Я много раз бывал в Югославии, в разных ее частях. В Хорватии, когда я говорил о сербах, мне говорили: «Ха-ха, сербы — хорошие люди, конечно. Но... малообразованные, да и вообще...». Потом я ехал в Македонию и говорил о хорватах. «Ну, — говорили мне, —

хорваты — это немцы». Все это было, но прикрывалось палкой режима. Нельзя было это показать. Понимаете? Когда палку убрали в чистом виде, это все вышло наружу. Это все было внутри: отвращение друг к другу, злоба мелкая, так же, как в Грузии, например. Там говорили: «Он армянин, но хороший человек». Понимаете? Это все было! Это все советская, коммунистическая болезнь.

— А как, по-вашему, кончится конфликт между Абхазией и Грузией?

— Я не представляю себе. Но, например, Фазиль Искандер — абхаз, и мы с ним дружим, говорим на эту тему. Он видит на сегодняшний день только возможность создания автономии, абхазской автономии в пределах Грузии. А иначе это вечная война. Абхазы будут отделяться, Грузия будет говорить — это наша территория! И это будет вечно. Абхазия была автономией, но условной автономией. А нет! Сделать нормальную автономию.

— А что грузины будут делать, которые жили в Сухуми? Я читал недавно в «Русской мысли» интервью с грузином, который в Сухуми жил и говорит, что конфликт будет вечен.

— Да, может быть. Теперь уже зашло так далеко, что на два поколения хватит этой ненависти. То же самое Азербайджан и Армения. Уже война, и это тоже на 2–3 поколения.

— Значит, мир без национализмов невозможен? «Счастливей конец» истории невозможен в ближайшее время?

— Мы живем сейчас в такой период, когда это все данность, совершенно реальная. Как это кончится и когда, я не знаю. И у меня нет надежды уничтожить это, понимаете? Нет! У меня есть желание пригасить это, чтобы не было крови. Пригасить. А для этого что необходимо? Вот я считаю, что необходимо России? России необходим авторитарный режим. Сильный, авторитарный. Де Голль нужен. Но в России это невозможно. Потому что всякий авторитарный режим в России через полдня перерастает в диктатуру и тиранию. Вот во Франции де Голль смог.

— Ситуация России похожа на ситуацию Франции перед приходом де Голля?

— Хуже, хуже.

— Года два назад я брал интервью у профессора Жоржа Нива. Он рассказал, что говорили во Франции, когда де Голль решил отдать Алжир алжирцам. Левые говорили, что этого слишком мало, что раскаться надо, на коленях просить у алжирцев прощения. А правые — что не надо отдавать. И вдруг он — между молотом и наковальней. И все-таки история доказала, что он выбрал правильный путь.

— Де Голль был великий человек при всех его недостатках. Это уже теперь известно.

— *Ельцин — это не де Голль?*

— Нет!

— *А кто?*

— У Ельцина есть масса недостатков и слабостей, но есть и достоинства, которые я очень ценю. Во-первых, Ельцин — человек, не жаждущий крови. Во-вторых, он не ради себя все это делает. Я в этом уверен на сто процентов. Он хочет сделать добро России. Он не жулик, понимаете. И третье, он умеет признавать свои недостатки. Ни один из российских руководителей никогда не признавал своих ошибок. А у него это есть, и это большое достоинство. А недостойнств у него полно... Они ему мешают.

Но мы живем в таком сумасшедшем обществе, что если даже вместо Ельцина пришел бы гений, он все равно не смог бы сразу привести в чувство это общество. Нужно время. Время, и трагедии, и потери, и все это необходимо. Я знаю массу недостатков Ельцина — может быть, я не прав — я не вижу сегодня человека, способного быть на этом месте.

— *Значит, тогда, в октябре 93-го, когда он отдал приказ стрелять по Белому дому...*

— Тогда тем более!

— *Это была трагедия для него?*

— И для него, и для нас. А теперь выясняется, что можно было не стрелять по Белому дому, а достаточно было одного взвода специальных войск — и все было бы прекращено.

— *А не думаете, что все-таки политик, который делает такую ошибку, должен предстать перед выбором народа? И организовать новые президентские выборы?*

— Наверное. Но я теперь прекрасно понимаю, почему это произошло. Не по злему умыслу, не потому что Ельцин — кровожадный человек, а потому что в тот вечер была страшная паника. Военные были в стороне. Милиция исчезла. Решался вопрос: или вас сейчас всех уничтожат, или что-то надо делать. И был отдан приказ стрелять, хотя можно было другим путем действовать. Это была паника, отчаяние. Я понимаю, за это надо расплачиваться. Я думаю, что наступит такой день, когда Ельцин будет каяться перед обществом. Но я другого не вижу человека.

— *А что вы скажете о Горбачеве?*

— Ну что я могу сказать о Горбачеве? Когда-нибудь ему памятник поставят. Хотел он сделать то, что сделал, или не хотел — я не знаю. Может быть, не хотел, а случайно вышло...

— *Но он будет еще играть какую-нибудь роль в истории страны?*

— Не думаю. Я бы хотел — если бы я был с ним близко знаком, я бы ему сказал: не надо. Не надо! Так что я могу сказать? Что он великий человек, он это сделал. Правда, мне кажется, что когда он начинал, то надеялся построить капиталистическое

общество под руководством коммунистической партии. Так себе представлял.

— *А вы думаете, что без него все это не произошло бы?*

— Произошло бы, но с некоторым опозданием. Потом я должен сказать, что начал-то этот процесс не Горбачев. Когда-то этот процесс начал Хрущев. Но очень жалко начал, чуть-чуть. И потом быстренько-быстренько все свернул.

— *Но для вашего поколения это даже важнее?*

— Нет, не важнее, но очень важно, конечно. Потому что (мне трудно объяснить) вот что произошло тогда... Вроде почти ничего не изменилось. Газеты были те же самые. Вся ложь была та же самая. А что-то так резко переменялось: сказали о Сталине, стали выпускать людей из тюрем и лагерей. Это было начало. Но потом все это перегорело...

— *Это 56-й год. Вы — так называемый шестидесятник...*

— Обо мне так говорят. В общем, конечно, я шестидесятник, потому что моя общественно-сознательная жизнь началась в шестидесятые годы.

— *Значит, и оттепель имеет для вас очень важное значение?*

— Конечно! Потому мы и появились.

— *Значит, то, что было при Хрущеве, — это качественная разница по сравнению с тем, что было раньше. А Брежнев?*

Брежневский период — это возврат к сталинизму или все-таки нет?

— Нет, возврата не было, конечно, в чистом виде. Но ложь усугубилась. Воровство усугубилось, потому что при Сталине из престижных соображений воровство подавлялось. А при Брежневе... Он сам воровал и всем разрешал. (Смеется.) Было очень трудно объяснить — вы поляк, Вы это понимаете, потому что Вы в нашей же системе существовали, — а западным людям... Я с одним говорил, это просто смешно было, потому что я говорил, как трудно было при Брежневе: могли, например, обвинить и посадить в сумасшедший дом. А он мне говорит: «То есть как в сумасшедший дом?! А вы бы пожаловались в суд!» Он не понимал, что такое был наш суд. В газету обратиться... Смешно. В какую газету! Вот сейчас суд такой же, как был. Ничего, пока ничего не изменилось, к сожалению. Но должно перемениться постепенно.

— *А нужен ли России капитализм?*

— Не знаю — в чистом виде? А во Франции — в чистом виде капитализм? Нет, какая-то новая форма. Там очень сильна социальная защита, понимаете, вот в Америке рабочий, трудящийся живет на хорошем уровне.

— *Ну да, но, чтобы делить, надо заранее сделать продукты для дележки...*

— Насчет дележки я тоже не знаю, насколько это верно. Но, во-первых, я не знаю, называется ли это капитализмом или как-

то иначе, потому что, когда мы говорим капитализм, мы подозреваем первоначальный капитализм: толстый капиталист в цилиндре и рядом нищие рабочие. Нет, теперь ведь это не то. Капитализм — очень гибкая система. Нужен ли России капитализм, я не знаю, но России нужна свобода творчества.

— *Но что естественно для человека: капитализм или социализм?*

— Капитализм, при всех его недостатках, — это результат естественного развития общества. Социализм — это придуманная система. Искусственная. Для меня нет крайностей. Для меня нет выбора: или Запад, или сугубо своя культура. Для меня есть: если это удобно и полезно, это мы берем с Запада. Если это неудобно, бесполезно и бесполезно, мы этого не берем. Вот и все. Так же, как Запад берет у нас, что ему удобно и полезно. И Франция берет и у Америки, и у Англии, и у Германии, но от этого она не перестала быть Францией. Неужели наша нация настолько ничтожна, что малейшее влияние Запада уже и вид ее изменяет!? А если мы отгородимся железной стеной, мы превратимся вообще в ублюдков. Сейчас, наоборот, период конвергенции идет, серьезно очень все это. От людей зависит.

— *А Солженицын, который вернулся? Некоторые говорят, что вернулся пророк из Вермонта, который ничего не понимает в ситуации страны и вдруг заговорил громко. Его никто не слушает, он хочет быть пророком, а России не нужны пророки.*

— Нет, не совсем так. Резон какой-то есть в этом, потому что 20 лет отсутствия, конечно, мешает многие мелочи нашей жизни понимать... Специфику нашей жизни. Конечно, желание — не желание быть пророком, а желание сказать, послужить своему народу воспринимается как желание быть пророком. Но где-то, я думаю, он постепенно разберется и, может быть, с такой настойчивостью не будет сообщать уже известные вещи. Вот недавно была передача с ним, в понедельник. Он, по-моему, с женой выступал. Замечательная была передача! Они говорили о книгоиздательстве. Прекрасная была передача. А когда он начинает по мелочам политическим или экономическим говорить, это неинтересно.

— *А ваш новый автобиографический роман?*

— Он вышел уже. Вот Краков будет издавать. А по-русски это вышло в журнале «Знамя». «Упраздненный театр» — это роман о моем детстве, 30-е годы, до катастрофы, до 37-го года. Рассказчик — 10-летний мальчик. И там мои родители. Конечно, там есть намек на то, что они в растерянности и что-то происходит. Тревога какая-то. Но я их люблю. Это мои родители. А один критик пишет, что вот-де Окуджава написал очень обаятельный роман, но как он мог так хорошо говорить об этих коммунистах?! Это десятилетний мальчик о своих

родителях!

— *У вас нет тоски по той объективной поэтике, где рассказчик все знает?*

— Не знаю, я очень натуральный человек и делаю то, что у меня получается. А это уже Ваша задача судить обо мне. Я Вам скажу, что я живу по двум пословицам. Первая — это Лопе де Вега:

«Пусть все течет само собой, а потом посмотрим, что случится». А вторая — чеховское выражение: «Умный любит учиться, а дурак — учить». Это я помню хорошо и поэтому стараюсь никого не учить, не поучать, а описываю свою жизнь. А вам — как понравится. Если вы из этого что-то можете извлечь, это ваше дело.

— *Что значит для вас Польша и, может быть, Краков?*

— Польша — моя первая любовь. Польша — первое государство, в которое я попал. Польша — первая страна, которая издавала все, что я писал, в отличие от Советского Союза. Хорошо переводили. Самые лучшие переводчики переводили! А потом... я не могу этого утверждать, но что-то совпало в польской психологии и польской судьбе с моими вещами. Поэтому в Польше так активно приняли то, что я делал. Потому что, например, в Чехословакии тоже меня знают и очень хорошо, но этого вот, родственного нет. Не случилось.

Я даже шутил, помню, что если бы я эмигрировал, то в Польшу. А Краков? В Краков впервые мы попали с Олей вместе, и нам очень понравился Краков. Это давно было, в 67-м году.

— *А вы когда-нибудь еще приедете?*

— Я бы приехал, но если не петь. Я думаю, что самая лучшая форма, которая уже проверена — я встречаюсь с аудиторией, мне задают вопросы, я отвечаю...

Москва, ноябрь 1994

Выписки из культурной периодики

Сказать по правде, не очень-то мне хочется писать этот текст: довольно трудно расставаться с проектом, которому отдано девятнадцать лет, много сил и внимания. Но, как видно, всему есть свой предел, ничто не длится бесконечно, следует с этим примириться, что я и делаю не без чувства, что, отвечая за литературную часть журнала, я сумел представить — особенно если речь идет о польской поэзии — довольно богатую и разнообразную картину. А при возможности стремился в обзорах прессы обратить внимание на общественно-политический контекст, в котором польская литература развивается. Сопряжение этих двух пространств может показаться довольно рискованным, но оно иногда позволяет лучше понять и литературу, и мир, что в одном из очерков показывал Людвиг Фляшен, один из ближайших сотрудников легенды польского театра, Ежи Гротовского. Фляшен писал, что у Мастера было в обычае на сон грядущий читать сочинения мистиков, а утром — погрузиться в изучение свежих газет. Должен признаться, что подобная привычка мне близка: сосуществование таких двух видов активности — вкушения поэтического слова и сбора информации о мире, в котором мне довелось жить, — позволяет поддерживать определенного рода духовное равновесие, которое не дает слишком уж воспарить над землей, но одновременно не забывать о суверенной сфере ценностей, благодаря чему я могу оценивать действительность и не поддаваться манипуляциям умельцев в искусстве лишать человека права на самостоятельное суждение.

А в таких умельцах нехватки нет, особенно сейчас, когда человечество, как и нынешнее польское общество, разделилось на два противоборствующих лагеря и оба лагеря выставляют собственных бойцов пропагандистского фронта, формирующих мировоззрение своих приверженцев. Я же в цикле обзоров периодики, который вел в журнале с самого начала его существования, старался представить резоны различных, менявшихся за это время группировок, по мере возможности объективно, но не уклоняясь при этом от собственного комментария, поскольку не столь уж беспристрастен, чтобы не иметь своей собственной оценки: объективность не обязательно должна быть сочленена с беспристрастностью — довольно того, что я добросовестно

представлял соображения всех участников публичного дискурса. Конечно же, не всех, сразу отметая любые крайности — как справа, так и слева.

Вот и сейчас. Стечение обстоятельств предопределило, что данный обзор мне приходится писать в дни празднования столетия обретения Польшей независимости после Первой мировой войны. Комментируя юбилей на страницах еженедельника «Сети» (№ 45/2018), Мацей Павлицкий пишет в статье «Вторая половина независимости»: «Празднование столетия независимости не проходит так, как нам мечталось. Политическое соперничество сменилось неприязнью, неприязнь — презрением, презрение — ненавистью. Над этим старательно трудятся газета презрения, немецкие медиа и прислужники, германские и российские агенты влияния на разных уровнях многих институций. И внутри национально-освободительного лагеря — конфликты, столкновения амбиций и жажда власти. В столетие независимости мы должны были объединиться хотя бы на минуту. Признать независимость общим благом. А мы — в таких раздорах, в каких, пожалуй, никогда еще не были».

Понятно? Не всем и не до конца. Надо это перевести с идеологического языка на человеческий. Вот объяснение терминов: «газета презрения» — это «Газета выборча», «немецкие медиа и прислужники» — это СМИ с иностранным капиталом, «германские и российские агенты влияния» — это журналисты и политики, находящиеся в оппозиции к правительству «Права и справедливости». А следующее предложение дает понять, что внутри лагеря власти сталкиваются разные фракции — автор, правда, не указывает кто с кем и против кого. Теперь можно читать дальше. Павлицкий быстро разбирается с угрозой со стороны Германии, которая при посредничестве Европейского союза «захватывает Европу» и одновременно «крепит альянс Фридриха и Екатерины», что означает: Германия с Россией нацеливаются на раздел Польши. Но не это для него самое страшное — вот что он пишет дальше: «Хуже с внутренней безопасностью. Гангрена сознания и сердца страшнее вламывающегося в дверь агрессора или потрошащего шкаф вора. Такой гангреной страдают миллионы поляков, и еще миллионам она угрожает. (...) Как пробудить в сердцах Польшу? Разве растущее размежевание укрепляет лагерь реформ и увеличивает шансы на оздоровление польского государства? Думаю, что нет. У оппозиции нет политических аргументов, нет программы. Но есть огромное желание затуманить картину действительности, исказить ее. Если посчитать, что на стороне нынешней власти 35% поляков, на стороне всей оппозиции также 35%, то остается еще 30%, которые решат, какой будет Польша

следующих десятилетий. А у лагеря реформ нет каналов коммуникации с этими решающими 30% поляков, такие каналы не созданы. Это очень опасно».

На той же неделе на страницах «Политики» (№ 45/2018) появилась статья Рафала Калюкина «Независимость без единства»: «Должно было получиться громко, возвышенно и с плясками. На столетие независимости власть предержащие точили зубы уже давно. В результате получили в подарок от судьбы — редкую возможность возглавить народ в большом патриотическом хороводе. Сценарий празднования, однако, не впечатляет, не было даже попытки преодолеть штампы патриотического официоза. (...) Поражает также провинциализм празднества без участия серьезных гостей из-за рубежа. (...) А ко всему этому раскалывающее праздник политическое противостояние». Далее, говоря об исторической обусловленности современности, автор обращается к недавно изданной книге Ярослава Куиша «Конец поколений независимости»: «Исходный тезис Куиша таков: во взрослую жизнь вступает первое после более двухсот лет поколение, полностью сформированное свободной Польшей. То есть не отягощенное травмами предшественников, родившихся во времена „зависимости“. Эти травмы, по мнению автора, ранее не позволяли разумно распорядиться свободой. Продуцировали подсознательный страх, что свобода — это временное положение. Злой рок поджидает: рано или поздно — очередной крах и утрата собственного государства. Отсюда невроз польской политики, ее навязчивое лавирование между „идолопоклонническим патриотизмом“ и „национальным мазохизмом“. А также моральный абсолютизм, подозрительность, инструментальное отношение к закону, понимаемому как источник лишних проблем. (...) Так что первое поколение независимости должно давать надежду, что поляки „обживутся“ наконец в собственном государстве, обустроивая его в соответствии с реальными потребностями. По мнению автора, особо серьезные вызовы стоят перед либералами, которым по определению должно быть чуждо подчинение исторической детерминации. „В XXI веке истинная нормальность должна основываться на убеждении, что польское государство не исчезнет“. И вот здесь как раз появляются сомнения. Еще несколько лет назад — вспомним хотя бы Леха Качинского на митинге в Тбилиси — именно правые предостерегали, что польская государственность под угрозой. Но это кончилось. Сегодня значительно худшая международная конъюнктура как-то уже не тревожит сон политиков и избирателей ПИС. Идол „суверенности“ успешно приструнил реалистическое мышление о нашей безопасности. Его заменила повсеместная, не позволяющая серьезно

размышлять о нашем историческом опыте героизация польской истории, на которую особенно податливо, по очевидным причинам, поколение независимости. От убеждения, что „польское государство не исчезнет”, один шаг до мышления, что нам „любое море по колено”, своеволия, политической безответственности, безалаберности, за что мы много раз в нашей истории платили высокую цену. Чуждые зрелой рефлексии, низведенные до уровня патриотического балаганчика официозные церемонии Праздника Независимости — это просто упущенный шанс».

Политическое противостояние, о котором пишет Калюкин, или «раздоры», как это называет Павлицкий, возможно, коренятся в языковых манипуляциях, описанных Марцином Матчаком в статье «Конфликт языков» на страницах «Тыгодника повсехного» (№ 47/2018): «Если два человека или две группы людей используют одни и те же слова в разном или даже противоположном значении, то коммуникация становится невозможной (...) То, что плохо, и то, что хорошо, меняются местами, хотя слова те же самые. Этот процесс коснулся таких фундаментальных для общества слов, как „польскость” или „христианство”. Для одних „польскость” — это изоляция от мира, для других — открытость. Для одних — прошлое, для других — будущее. «Христианин» для части поляков — защитник веры, родом из крестовых походов, видящий в беженцах захватчиков. Для других христианин — это человек, идентифицирующий себя с Добрым самаритянином, заботливо-отзывчивый к страданиям других, пусть даже чужих ему. (...) В узком смысле, поляки произносят идентичные слова. Но эти слова означают нечто противоположное. Такие слова, как „польскость” и „христианство” употребляются в разных значениях, потому что те, кто их употребляет, по-своему понимают и описывают общность, которую создают. Проблема в том, что любая дефиниция подразумевает исключение неугодных. Если польскость — это изоляция от мира, то из польскости исключаются те, кто открыт. Но и наоборот: если польскость — это открытость миру, в ней, похоже, нет места закрытым. (...) Мы пользуемся языком методом проб и ошибок. Задача в том, чтобы то, как мы теперь называем действительность, было повторением правильных названий в прошлом. А чтобы так было, мы должны знать, какое положение дел данное слово традиционно описывало, и какими оказывались последствия. Мы должны анализировать традиции языка. Именно поэтому каждый, кто хочет заново дефинировать действительность, сталкивается с проблемой, то есть традицией, которая его ограничивает. Не без причин любой авторитарный режим отмежевывается от действительной традиции и создает новую.

И не без причин любое авторитарно ориентированное правительство создает свой новояз».

Очерк Матчака, в чем-то интересный даже для поэтов, по сути отвергает или, по меньшей мере, ставит под сомнение то, что носит наименование «историческая политика», то есть такое понимание истории, которое ведет к ее дефинированию: «Мы должны все время дискутировать, какой момент в нашей истории был примером правильного употребления слова „польскость“. (...) К тому же что-бы спорить, нужна одна важная вещь: неограниченная свобода слова и свобода выражения взглядов, в том числе равного доступа к средствам массовой информации, которые сейчас стали главным местом общественной дискуссии». Могу лишь добавить, опираясь на несколько десятилетий моей работы с печатным словом, что понятие, которое привлекло внимание профессора Матчака, а именно «польскость», постоянно меняет, как и другие слова, свое значение. Впрочем, очевидное для поэтов необязательно должно быть очевидным для политиков.

И этой мыслью я завершаю свою работу для «Новой Польши».

Больше всего меня интересуют те, кого уже нет

С Анной Биконт беседует Катажина Кучинская-Кошани



Анна Биконт. Фото: Agencja Gazeta

— Начнем разговор с того, как вы пришли в литературу. Вначале вы писали в дуэте с Иоанной Щенсой. Это были захватывающие репортажи, такие книги, как «Барахло на память...» — о Шимборской, «Лимерики...», «Эпитафии, Или чары, что останки порой расточали...». Там была склонность к рифмовке, легкости, не так ли? «Сталь калиется, Бог рождается». Даже когда вы в соавторстве затрагивали важные вопросы — как в репортаже о Доминике, мальчике-аутисте — это звучало необычно, неким дуэтом психолога и филолога?

— Если говорить о том, как я пишу, то с самого начала надо сказать: у меня никогда не было никакой, просто никакой склонности к литературе. Большинство людей, наверное, пишут в молодости стихи, дневники, мечтают стать писателями, а я вот — никогда. Моя мама была журналисткой, и мне казалось, что это несерьезное занятие. Я окончила факультет психологии, училась на психотерапевта, вот это меня, действительно, интересовало. Случайно мне пришлось начать писать, поскольку я попала в «Тыгодник Мазовше»,

подпольный еженедельник «Солидарности», но в течение восьми лет работы в журнале я ощущала себя деятелем «Солидарности», делегированным на этот участок работы [смех]. Не то, что мне бы хотелось там быть. Я искала контакты с подпольем, потому что хотела помочь скрывавшемуся Збигневу Буяку, руководителю «Солидарности» региона Мазовии. Я не относилась к этому как к журналистской работе, впрочем, в журнале мы писали очень короткие тексты. Буяк подшучивал над нами: «Что такое телеграфный столб? Это дерево, отредактированное «Тыгодником Мазовше».

— *Очень хорошо...!*

— Я оказалась в «Газете выборчей», потому что наша команда — из «Тыгодника Мазовше» — начала делать «Газету». Это было увлекательно как политическое событие, а не потому, что меня тянуло писать для газеты. Вначале я отвечала за информацию о работе парламента, потом стала брать интервью и писать репортажи. Я всегда предпочитала интервью — мне нравится разговаривать с людьми, и, по-моему, у меня это на самом деле хорошо получалось. Иоанна Щенская тянула меня в литературу, ведь она филолог и всегда любила писать, тягаться со словом. Иоанну забавляют литературные игры, а я шла за ней. Мы вместе написали биографию Виславы Шимборской, книгу «Лавина и камни» — это была идея Адама Михника — об ангажированных писателях времен сталинизма, которые потом перешли в оппозицию. В 1995 году Марцель Лозинский предложил мне сделать подписи к фотографиям для альбома «И по-прежнему вижу их лица»^[1]. Я начала ездить по тем местам, где были сделаны снимки, расспрашивать людей, разговаривать. Тогда я почувствовала, что это именно то, что мне хочется делать.

— *Это было что-то вроде цезуры, граница?*

— Да. Я помню беседы с людьми, приславшими прекрасные фотографии. Ведь некоторые снимки были обычными, школьными. А на других, сделанных в фотоателье, люди позировали. После третьего, четвертого разговора мой собеседник начинал плакать: «Этот человек — мой дядя»; «Этот человек — мой отец». Они хотели подарить фото, боялись держать их дома, боялись, что кто-то увидит, муж, дети. И в то же время, это были снимки, к которым люди были невероятно привязаны. Тогда я думала написать продолжение этих историй, в «Газете» я работала очень интенсивно, так что мне было не до этого. И позже, когда Ян Томаш Гросс написал книгу «Соседи»^[2], мне хотелось написать репортаж для «Газеты» о городке, разделенном после 60 лет молчания о преступлении. А потом я так сильно втянулась в это, что

потратила четыре года на написание книги «Мы из Едвабне» и, собственно, с того времени уже работаю над темой Холокоста.

— И здесь мне хотелось бы задать вопрос о книге «Мы из Едвабне», поскольку это, кажется, стало моментом раскрепощения. Вы пишете ее не в рамках задания, не для газеты. Когда я читала эту книгу, у меня возникло впечатление, что это самая важная книга, которая написана о Едвабне, и самая смелая: она уничтожает наш любимый миф — миф о польской невинности. Мы воспитаны на идеалах жертвенности, а книга выворачивает этот миф наизнанку, показывая поведение поляков по отношению к Едвабне. Мы хотим участвовать в том, что считаем подвигом, в Вестерплатте^[3], а не в Едвабне, которое теперь стало нашей общей историей и общим ужасом. В конце вы цитируете Яцека Куроня, который читает вашу книгу, будучи уже смертельно больным, и говорит, что вроде бы был подготовлен и все же ему было тяжело. Как писалась эта книга и знаете ли вы после ее написания, почему поляки не хотят принять обе стороны польскости?

— Вначале одно уточнение. Самой важной книгой о Едвабне была, конечно, книга Яна Томаша Гросса «Соседи», поскольку именно он начал это...

— Важнейший, может быть, Гросс, но всё же самая смелая, я бы сказала, — это ваша книга...

— Нет, мне кажется, что книга Гросса невероятно смелая. Она переламинает нечто очень важное в исторической литературе, устанавливая еврейскую судьбу в качестве основной единицы для изучения Холокоста...

— Основного критерия.

— Да. А до этого речь шла о виновниках: немцы или машина Катастрофы. Гросс это поломал, это было большой интеллектуальной смелостью, я пошла вслед за ним. В его книге меня восхитило то, что он нашел язык, чтобы рассказать об этом, и что в центре повествования — убитые. А не то, хорошо ли это для Польши, и примут ли нас в НАТО, когда это станет известным, что, к примеру, разные люди в «Газете» считали главным и не хотели, чтобы я там писала о Едвабне. Книга эта, на самом деле, писалась трудно. По многим причинам. Во-первых, потому что раньше я особо не сталкивалась с антисемитизмом. В 1968 году^[4] мне было 13 лет, у меня самой не было никаких неприятностей. И только в Едвабне я столкнулась с ненавистью к евреям, которые там погибли. Это было поразительно. Просто я прежде не видела такого. И еще этот софт-антисемитизм, раньше я тоже не замечала его в такой степени.

— *Все эти эвфемизмы...*

— Все эти эвфемизмы... То, как разные люди в «Газете», разные мои знакомые были недовольны, что я этим занимаюсь, как спрашивали: «Зачем это?». Мол, от этого только вред. Так зачем это беречь? Я думаю, это самая большая проблема в Польше. Именно это, а не грубый антисемитизм, который характерен для крайне правых, а они есть во всем мире, и я бы особенно не переживала из-за этого. В то же время, что мне видится болезненным — особенно с учетом того, что Холокост произошел здесь, на этой земле — так это отсутствие эмпатии: о жертвах не думают вообще, лишь о том, как на этом фоне будут выглядеть поляки. Когда нет сочувствия к жертвам, и думаешь только о том, как выглядят поляки, то получается, что на фоне Едвабне они смотрятся плохо, а значит, Едвабне — неудобная тема. Конечно, это так, но что нам делать? Поворачиваться лицом к неудобным темам или замечать их под ковер? После написания книги о Едвабне мне казалось — у меня были очень хорошие встречи с читателями, завязывались очень доброжелательные отношения — что мы раскрылись, что мы смело идем навстречу трудным фактам. Я считала, что мы уже преодолели это, что пойдем дальше. Но — как мы видим — всё, что было открыто, можно вновь закрыть; всё, что было сказано правдиво, можно вновь оболгать.

— *Самим заголовком вы как будто намекали, что это мы «из Едвабне», все мы, и что мы должны принимать в этом участие, потому что часть из нас сделала то, что сделала. Книга пробила, была переиздана. И мне кажется, что она сильно воздействует на читателя, потому что это книга, говорящая правду. В каком-то смысле она защищает себя сама, хотя представляю себе, что вам довелось пережить в различные моменты конфронтации. Но я понимаю, что есть нечто большее, что оно того стоит. Это проделывание кротового туннеля, говоря словами Милоша, в антисемитизме мягких и добрых людей, как это назвал когда-то Мазовецкий. Какая-то отдельная ценность. Ваше творчество в целом, как некий способ общения с миром, отважно, бескомпромиссно, но еще и опирается на кропотливый труд. Я подсчитала, что в книге о Сендлер почти тысяча примечаний [смех А.Б.]. Это более, чем добросовестность или репортерская честность. Могли бы вы рассказать о своей писательской лаборатории?*

— Это наверняка как-то связано с тем, о чем мы говорили в начале, с тем, что у меня никогда не было склонности к литературному труду. Когда я уже собираю весь этот материал, мне неудобно ничего с ним не сделать, не написать. Но на самом деле мне нравится разговаривать с людьми и сидеть в архивах. Это для меня большое удовольствие. А если говорить о том, как я пишу, то у меня, действительно, хорошо

получается сочетать архивные источники с устными, как в книге «Мы из Едвабне». Метод *oral history*^[5] постепенно пробивается, но многие историки всё еще пользуются только архивными источниками. В свою очередь, многие журналисты пишут отличные репортажи, но им не приходит в голову провести много месяцев — ведь это утомительная работа — в архивах. Я это увидела в Едвабне: люди что-то говорили, и это было просто непонятно. А потом, когда я сидела в архивах и продиралась через материалы того времени, из этого региона, то у меня вдруг что-то щелкало, и я вдруг понимала, о чем речь. В этом состоит удовольствие сочетания источников. Всё новые люди рассказывали, как после бойни 10 июля они прятали людей и называли их фамилии. Это вообще не совпадало с фактами, но было очень странно, что они называют конкретные фамилии. Как это могло случиться, если уже потом в Едвабне было гетто, то есть один дом для тех ста евреев, что выжили, назывался гетто, и им не приходилось скрываться. Вдобавок мне говорили это люди, которые произносили весьма антисемитские тексты, либо те, о которых я знала, что их родня принимала участие в убийстве. И только читая очередные документы, я случайно наткнулась на то, что, оказывается, происходило по всей Польше, и о чем вообще не говорилось: немцы сдавали полякам евреев внаём для работы, в гетто евреи возвращались в воскресенье. Это было выгодно всем: полякам, потому что у них были бесплатные помощники, они лишь давали евреям что-нибудь поесть один или два раза в день; немцам, потому что им не нужно было следить за евреями; евреям, потому что это было все-таки намного лучше, чем в гетто, была возможность работать и что-то поесть. То есть местные жители рассказывали о евреях, которых нанимали на работу, как о примере своего благородства, будто они их прятали. Когда я в 2000 году принималась за работу, мало кто знал, что происходило между поляками и евреями во время Холокоста. Теперь вообще другое дело — благодаря работе Центра по изучению катастрофы евреев, наши знания нарастают лавинообразно. Тогда об этом совсем ничего не было известно. Просто до войны евреи существовали, а потом вдруг три миллиона гибнут в Освенциме. И это было всё. Каждый раз, когда я чего-то не понимала из исторических источников, я могла выяснить это, разговаривая с людьми. Такое соединение двух источников, то, сколько дает их сопоставление, восхищало меня.

— А при работе над книгой об Ирене Сендлер^[6]?

— И эту книгу мне не удалось бы написать, если бы я не сопоставляла источники, но, к сожалению, здесь у меня уже было меньше устных источников. Что я делала до этого, в

течение 50 лет, когда столько людей еще жило? Я должна была взяться за это гораздо раньше. Свидетелей всё меньше. Но даже отдельные беседы со свидетелями, которых осталось уже немного, тоже помогли мне в сопоставлении...

— *В книге «Сендлер» вы неоднократно верифицируете или реконструируете некоторые общеизвестные вещи. Повторенные много раз — казалось бы — истины оказываются наполовину вымыслом, полным вымыслом, наслоением.*

— Часть историй, рассказываемых о Холокосте, всегда неправдива и служит для сокрытия правды. В случае Ирены Сендлер эти вымыслы были и сознательными, и бессознательными. То, что она пережила, что видела, что услышала от других поляков по поводу евреев, было настолько страшным, что она была не в состоянии справиться с этими своими воспоминаниями, в частности, она говорила, что вообще не может спать по ночам. Через столько лет после войны! Что ей нужен кто-то рядом, потому что у нее бывают кошмары. И в связи с этим она прикрывала свои воспоминания покровом таких сентиментальных, слезливых, ложных рассказов. Это не феномен Сендлер. Такая сентиментализация Холокоста — удел многих евреев, которые пережили Катастрофу и не в состоянии бороться со своими подлинными воспоминаниями. А чем более фальшива и сентиментальна история, тем большее общественное признание она получает, благодаря чему становится доминирующей.

Могу привести конкретный пример. Сендлер рассказывает, как она ездит за детьми в гетто с водителем из санитарного отдела городской администрации. И есть проблема: эти младенцы в ящичках плачут. Поэтому водитель берет волкодава, у ворот наступает ему на лапу, собака лает, и немцы их пропускают, так как не слышат этого плача. Конечно, для меня, немного читавшей о Холокосте, это история из рода сказок.

Сделаю такое отступление. Очень легко написать о чем-то, что оно существует. Например, у нас есть информация, что Сендлер спасла две с половиной тысячи детей, закопала список, после войны отдала его секретарю «Жеготы»^[7] Адольфу Берману, этот список находится в Израиле, в кибуце Героев гетто, как говорила сама Сендлер и описала ее биограф. Достаточно 15 минут, чтобы подтвердить факт существования этого списка. Пишется письмо: «Уважаемый директор кибуца Лохамей га-Гетаот, я занимаюсь Иреной Сендлер, прошу прислать нам этот список». А вот доказать, что чего-то нет, это огромная работа, это означает проверить все списки в мире, которые остались после Холокоста, обследовать все возможные архивы, где эти списки могли бы находиться, проверить всех лиц, которые могли бы иметь что-то общее с таким списком, не писали ли они чего-либо об этом.

И как теперь проверить историю водителя санитарной машины Антония Домбровского, достоверна она или нет? Очень трудно. Благодаря тому, что я сижу в архивах, я знаю, что в 1963 году Сендлер передала Еврейскому историческому институту список из 29 человек, с которыми она сотрудничала. Домбровского там нет. Впервые я нашла на его след в большом интервью 90-х годов, когда Сендлер перечисляла тех, кто мог догадаться о том, чем она занималась, из круга людей в городских властях. И она упоминает Домбровского. Дальше она рассказывала о нем, но вне связи с ней самой, что он возил собаку и наступал ей на хвост, проезжая мимо поста, чтобы не был слышен плач перевозимого ребенка. И только в письме к школьницам из Канзаса в 2000 году появляется рассказ о совместной перевозке детей в обществе собаки. Но это следы, которые я обнаруживаю постепенно, это занимает время. Долгая, кропотливая работа. Немного детективная...

— *Целое следствие!*

— Да, и немного везения, чтобы найти что-либо. Удача, конечно, всегда связана с трудолюбием. Однако мне везет.

— *Эти истории, правдивые и ложные, однако, по-прежнему популярны и распространяются дальше, потому что Сендлер стала иконой спасения евреев. И появляются детские книги, недавняя «Списки в бутылке» Анны Червинской-Рыдель, французский комикс четырех авторов, в котором рисуют эти истории о поездках с собакой и детьми. Это распространяется в мире. Вы показываете в своей книге ошибки в стереотипных суждениях, связанных с Иреной Сендлер. Как вы воспринимаете то, что ваши следственные усилия не отражаются на распространении знаний?*

— С этим ничего не поделаешь. Я пишу тяжелые вещи, требующие усилий; пишу, что Сендлер действовала в одиночку, действовала вопреки своему окружению, что за детьми гонялись сотни шмальцовников^[8], которые хотели донести на ребенка, что было равнозначно его убийству. И было довольно распространенным явлением. Я описываю эту невероятную сцену, касающуюся Михала Гловинского, как какие-то дамочки в кафе, между одним кусочком пирожного и другим, обычные дамы, сидящие в кафе, готовы были выдать еврейского ребенка. Описываю, как на каждого из этих моих детей в какой-то момент доносит другой ребенок. Я рада, что кому-то вообще хочется это прочитать, но чтобы я надеялась (особенно в нынешней политической атмосфере, когда нам ведь положено гордиться тем, что мы поляки), что это как-то повлияет на ситуацию — конечно, нет. Если взять общий тираж всех книг, которые пытаются донести правду о времени Холокоста, — книг Гросса, Центра по изучению Катастрофы евреев, моих — и

сопоставить с просмотрами телевизионного сериала о Праведниках, то какое уж тут сравнение. Я читала, что при первом показе сериал имел пятимиллионную аудиторию. Один отрывок я посмотрела — это не имеет ничего общего с оккупационной действительностью: слезливые, фальшивые истории, цель которых — ублажать польское эго.

— Одновременно это востребованная история, которая отвечает современным запросам. В этом смысле было бы необыкновенно важно, чтобы такие, как ваша, книги попадали в широко понимаемый образовательный оборот, а в Польше это блокируется...

— Было время, когда в учебниках истории говорилось о Едвабне. Теперь любой задумается десять раз, упоминать ли об этом: известно, что в таком случае финансирования ты не получишь.

— Еще, возвращаясь к вашей писательской лаборатории, — у ваших книг интересные названия. «Сендлер. В укрытии» — звучит неоднозначно: здесь говорится о подпольщице, но еще и о женщине, которой многое приходилось скрывать в своей жизни. Хотя бы прекрасная любовная история с Адамом Цельникером, которому она придумывала псевдоним, скрывала его от других. И ведь были такие моменты, когда она открыто говорила, что хотела бы быть еврейкой, «принадлежать к этому прекрасному народу», что совершенно уникально для польского нарратива. Появляются ли эти названия в конце, исходя из того, что написано, или, скорее, у вас есть четкий замысел, и вы пишете в соответствии с ним?

— Нет, при написании каждой книги я как раз мечтала бы просто иметь структуру. Я всегда так задумываю: вот такое название, структура, и это никогда не подходит к тому, что я делаю и переделываю по десять раз. Заголовок «Мы из Едвабне», который мне придумал Тадеуш Слободзянек, появился, собственно, в самом конце, я была в полном отчаянии, потому что уже нужно было печатать обложку, а у меня не было названия. С книгой о Ирене Сендлер было то же самое: я начала совсем с другого. Это отняло у меня много лет. Я хотела написать книгу о детях, которые не выжили. Ведь меня, на самом деле, больше всего интересуют те, кого нет. Я подумала, что напишу о детях, о которых очень хорошо заботились, и, несмотря на это, они не выжили, покажу этот ужас: сколько такого ребенка подстерегало людей, которые хотели его выдать. Возьму «Детский доклад „Жеготы”» и Ирену Сендлер. Однако потом оказалось, что те, что не выжили, — это страшное табу, особенно дети, и они становятся безымянными. Если говорят, что кто-то не выжил, то не называют его фамилии. Я не в состоянии была это рассказать, поэтому

решила, что напишу историю тех детей, которые выжили, и через нее будет видно, какое это чудо, счастливый случай, и что можно представить себе, сколько детей не выжило. Я начала записывать эти истории. И сразу представляла, что это будет в кругу Сендлер, чтобы была какая-то связующая нить. Взяла семью Гловинских, Войдовских, Эльжбету Фицовскую, людей, о которых было известно, что они из круга Сендлер. Ренату Скотницкую-Зайдман, которая в разных телевизионных программах говорила, что ее спасла Сендлер. Это была моя первая собеседница, к которой я поехала в Канаду. И структуру этой книги я представляла так, что это будут рассказы о детях, а потом, в конце, глава после этих рассказов о том, как трудно спасти каждого ребенка. И станет понятно, что спасение двух с половиной тысяч детей — это какая-то фикция. И наконец, что будет глава об исторической политике, такое публицистическое эссе. И что тот, кто спасает одного ребенка, спасает целый мир, и не нужно прибавлять цифры и множить истории, недостоверные и сентиментальные. Но когда я взялась за это, то увидела, как часто автором всех этих, скажем, мистификаций является Сендлер. И сама она меня очень заинтересовала. Это действительно колоритно и интересно. Ведь если человек ничего особенного в жизни не совершил, но при этом он — незаурядный мошенник, то это тоже интересно, но всё же не так. А вот человек, который каждый день рискует своей жизнью, спасая евреев, т.е. совершает невероятный подвиг, но в то же время потом рассказывает об этом истории, которые не очень соответствуют действительности — такой человек по-настоящему интересен. И чем больше я искала, тем больше она оказывалась совершенно другим человеком, чем мы себе представляли, видя эту милую пожилую женщину...

— *...ставшую памятником.*

— Да, монументом... Как до войны она работала с проститутками, каким смелым социальным работником она была, каких левых взглядов она придерживалась, какой она была...

— *...феминисткой.*

— Да, из такого, скажем, первого поколения феминисток, у которых феминизм сочетался с огромным количеством претензий к мужчинам как виду. Сендлер даже говорила, что, по ее мнению, это вообще не один и тот же вид. И Сендлер занимала в книге всё больше места, но я по-прежнему считала, что это книга о детях. Было еще кое-что, что начало разваливать мне книгу, вся эта группа женщин вокруг Сендлер. Они поразительны. Особенно личность Ядвиги Пётровской, через дом которой прошло 50 еврейских детей, совершенно неизвестной, фантастической. Мало того, что фигура Сендлер начала занимать много места, так мне еще

было жалко не рассказать об этих женщинах, потому что я подумала, что если я не вытяну их из тени, то неизвестно, сделает ли это кто-нибудь еще. И в связи с этим, рассказы о детях, которые являются важной частью книги, уже как бы не составляли единого целого, поскольку переплетались с другими историями, и это было очень трудно скомпоновать.

— *Эти истории перестали быть исследованием единичного случая?*

— Да... Это у меня тоже заняло много времени. Но я всё время думала, что пишу больше о детях. Ведь название «В укрытии» пришло мне в голову как одно из названий, и потом я всё больше понимала, что это и о тех детях, и о самой Сендлер. Но я еще не думала включать в название фамилию Сендлер, может быть, в подзаголовок, а может, и нет, чтобы книга защищала себя сама, а не с помощью фигуры Сендлер. Потом в издательстве «Чарне», когда книга была уже готова, у меня спросили, выпускать ее в серии «Репортаж» или «Биографии». Для меня вначале было очевидно, что это репортаж, но потом я стала рассматривать обложки, и мне понравилась биографическая серия. Там на обложке половина лица, крупные буквы на корешке... Мне очень понравилась эта серия, и я сказала: «Биография». В тот момент, когда я произнесла это вслух, я осознала, что ведь я написала биографию Ирены Сендлер. Раньше я этого не понимала, это был долгий путь.

— *Когда не знаешь всех этих перипетий, композиция вашей книги кажется очень стройной и продуманной. Я помню свое удивление, когда увидела, что она начинается не с истории Ирены Сендлер, а как «Мадам Бовари» Флобера. У него тоже все начинается не с фигуры мадам Бовари и заканчивается не ею. Ваше повествование начинается с кого-то, кто связан с Сендлер, кого-то самого главного, с ребенка, и заканчивается списком участников и благодарностей. Вы как автор всегда признаете соавторами других людей, тех, кто вам помогал.*

— Собеседники — это всегда соавторы книги...

— А Ирена Сендлер — как бы в центре, в фокусе этой книги, и эти рамки такие, прошу прощения за эту ассоциацию, флоберовские...

— Незачем извиняться, Флобер — мой любимый писатель.

— Да? И мой! Может быть, он учит нас композиции? Тому, как нужно писать? В вашей книге интересно то, что она с самого начала неочевидна. Начиная с названия. Ведь если вспомнить предыдущие заголовки, то они поднимали Сендлер на пьедестал, приподнимали стиль: «Мать детей Холокоста», «Мать Иоланта^[9] от тонущих» или «Та, что спасала евреев». Все это с добрыми намерениями, но не хватает правды о человеке. Петр Сливинский во время вручения Познаньской литературной премии^[10] сказал: «биография, не агиография», что передает

характер книги, попытку демифологизации, попытку показать Ирену Сендлер как нормального человека. И одновременно вы выдвигаете тезис, с которым я согласна: достаточно заметить, что Сендлер всегда придерживалась левых убеждений, что она была социалисткой в полном смысле слова, и этот пазл складывается.

— Да. Проблема состоит в том, что мы в Польше подбираем себе героев по потребностям, не так ли? И сейчас есть потребность в католическом герое, который спасал евреев. Это говорила сама Сендлер: я — алиби нации после Гросса...

— *Нужна икона после Едвабне.*

— Она была исключительно разумным человеком и понимала это. Как-то потом приспособилась к тому, на что был запрос. Сендлер была очень подвержена влиянию своего отца, несмотря на то, что он умер, когда ей было семь лет. Для нее это была личность, ставшая как бы проводником в жизни. Он был левым атеистом, связанным с ППС^[11], который не хотел крестить своего ребенка, что всё же очень редко [смех]...

— *...особенно тогда...*

— ...случалось... Мама крестила ее, когда Ирине было семь. Во-первых, отец умер; во-вторых, для того, чтобы пойти в школу, нужно было какое-то свидетельство. У нее всегда были левые взгляды, то есть до войны не коммунистические, а ППСовские. Свободный польский университет, который тоже воспитал ее, независимый институт Второй Речи Посполитой, где не было гетто за партами^[12], где вообще ко всем относились, как к согражданам. Эта идея согражданства была некоей основной ценностью, и это также подталкивало Сендлер к левым, потому что именно там господствовала идея, что люди изначально равны. В Свободном университете 30% студентов были евреями, это происходило естественным образом — ее ближайшими друзьями были евреи. Лучшая подруга, Эва Рехтман, была еврейкой. Это была ее обычная среда — они были для нее такими же поляками, как она сама. И я думаю, что это согражданство оказалось детерминантом, благодаря которому левая идеология стала для нее столь привлекательной. И когда она писала — в свидетельстве, переданном в кибуц Лохамей га-Гетаот, видимо, Адольфу Берману (секретарю «Жеготы»), который передал кибуцу Героев гетто свой архив, — о тех, кто ей помогал, то в первом из четырех пунктов назвала людей из левого крыла, ППР. Значительная часть из помогавшего ей окружения была левых взглядов, и она встречала на своем пути всё больше коммунистов, готовых помочь евреям, что, в принципе, было не случайно. Конечно, бывало, что и

антисемиты помогали евреям, но это были, скорее, исключения, нежели правило.

— *Тогда они относились к этому, как к крайней необходимости...*

— То, что делала необыкновенно благородная и смелая Зофья Коссак-Щуцкая — склоняясь над чужой судьбой, но совершенно не задумываясь о том, что это просто человек и что это согражданин. Ведь Коссак-Щуцкая не вошла в «Жеготу», когда оказалось, что поляки там будут вместе с евреями, для нее это было неприемлемо, несмотря на то, что она и дальше самоотверженно помогала евреям. Сендлер еще больше смещается налево; так мне кажется — чем у нее больше знакомых коммунистов, помогающих евреям, тем больше она видит, как коммунисты к ним относятся, просто как к товарищам, а не к преследуемым евреям, которым нужно помочь, потому что мы — поляки, потому что наши христианские ценности велят помогать, даже если мы их не любим...

— *В этой помощи от левых нет дистанции, нет взгляда свысока...*

— Да. И это еще сильнее смещает Сендлер налево. Ведь еще во время войны происходят очередные расколы ППС, и всегда есть раскол в левую сторону, вплоть до того раскола, который как бы противоречит Польскому подпольному государству^[13], поскольку выступает за сотрудничество с ППР^[14]. И она оказывается в нем, а после войны вступает в ППР. Во-первых, это вопрос отношения к евреям, во-вторых — это размах, это то ощущение после 1945 года, что можно всё изменить, перепахать, что можно ввести какую-то новую систему социальной опеки, что не будет неграмотности — масштаб этих перемен восхищает, захватывает...

— *Она в это просто верит?*

— Она в это верит. И здесь есть две очень интересные вещи. Сендлер занимала очень высокое положение в партийных структурах. В начале периода сталинизма она была председателем социальной комиссии в варшавском комитете ПОРП и членом социальной комиссии в воеводском комитете ПОРП. Немногие женщины имели столь высокую партийную должность. Это полностью противоречит тому, что нам сейчас требуется от героев. Идеальный польский герой должен равно страдать как в казематах коммунистической СБ (службы безопасности), так и в застенках гестапо. И Сендлер рассказывала, что ее так жестоко допрашивали в СБ, что она потеряла ребенка. Это невозможно, чтобы ее жестоко допрашивали, потому что она и дальше, после этих допросов, оставалась важным чиновником в упомянутых комиссиях. Невозможно, чтобы ей грозила смертная казнь, и уже был готов

приговор, но кто-то — жена главы МВД, которую она спасала, — заметил это. Это истории, которые не имеют никакого отношения к действительности. А действительность такова, что по новым критериям, принятым нынешней властью, Сендлер следовало бы декоммунизировать. Переименовать все названные ее именем скверы, улицы. Это безумно неудобно, поэтому мифология будет поддерживаться и дальше. Мол, Ирена Сендлер была польской католичкой, которая помогала евреям. Потому что сегодня мы хотим ставить именно такие памятники. А ведь она была послевоенной коммунисткой. На радио как-то проходило обсуждение моей книги, в котором принимал участие Дариуш Столя, директор музея истории польских евреев ПОЛИН. Его спросили, что ему показалось наиболее интересным в книге. Казалось бы, что директора ПОЛИН больше всего заинтересует то, что касается истории евреев. А он ответил, что самое интересное — это то, что Сендлер принадлежала к коммунистической партии. Для него это было большим открытием, поскольку он, как, впрочем, и я, в принципе не уважал людей, которые были в компартии и были активны в период сталинизма. Это означает, говорил Столя, что ему придется пересмотреть все свои взгляды на тот период, потому что Сендлер для него является образцом морали, и если она это делала, то, наверное, не для того, чтобы иметь личного шофера, материальные блага, а потому что у нее были такие убеждения. Если такой благородный человек, эталон морали, считал возможным вступать в коммунистическую партию и верить в это, значит, таких людей было больше, и я должен, говорит Столя, пересмотреть свои взгляды на этот период.

— Я тоже размышляла о прагматизме Сендлер, постоянно, даже в самых трудных обстоятельствах, воплощавшей то, что она задумала, в действие. Есть какое-то противоречие между этим прагматизмом, очень явным, и тем, что ее увлекают идеи равенства, свободы, левые идеи. В принципе, она следует зову сердца. Ведь и в любви она бывает неразумной. Что должно было случиться, чтобы Сендлер, уже в пожилом возрасте, согласилась стать католической иконой, всё более приспосабливаясь к меняющимся, нарастающим потребностям?

— Ей нравилось чувство признания со стороны других. Анна Мешковская, ее первый биограф, рассказала мне, что когда по выходным Сендлер посещало меньше людей — ведь значительную часть визитов составлял официоз: то делегация израильских солдат, то послы, то министры, самые разные объединения — она чувствовала себя хуже, чем тогда, когда в этой ее небольшой комнате в монастыре бонифратров толпились люди. Для нее это было как-то невероятно важно. И она умела — сознательно или бессознательно — не выходить из

этой роли. И еще она боялась — так же, как боялись после войны многие евреи. Это естественно, что боялись также поляки, спасавшие евреев и идентифицировавшие себя с их судьбой.

— *Происходил своеобразный перенос травмы на себя...*

— А может быть, у героев иногда заканчивается смелость: столько этой смелости она уже израсходовала во время войны. Ирена Сендлер после войны — это явно напуганный человек. Думаю, что она боялась, что если что-то разрушится в этой хрупкой конструкции, например, окажется, что это не две с половиной тысячи детей, за что она судорожно цеплялась, либо выяснится, что ее муж был евреем, то всё рухнет. И поэтому ей хотелось соответствовать тому, чего от нее ожидают. Ведь степень страха у нее была такая, что в 1968 году она звонила своим подопечным, говоря, что может их спрятать, сообщала своей связной, что организует новую «Жеготу». Она считала, что ее дети не поступили в вуз, потому что она спасала евреев. В 2000 году она полагала, что нельзя писать, что ее муж был евреем, иначе внучку не допустят к выпускным экзаменам в школе. Это я, много лет пишущая о польско-еврейских отношениях и не питающая больших иллюзий относительно масштабов отечественного антисемитизма, всё-таки знаю, что в современной Польше нет возможности не допустить ребенка до экзаменов на аттестат зрелости по той причине, что дедушка был евреем, а бабушка спасала евреев. А она действительно в это верила и действительно боялась.

— *Вездесущий страх был столь силен, что достиг критического уровня?*

— Да, до такой степени, что охватил все сферы жизни.

— *Еще мне хотелось бы спросить о трудных моментах во время создания книги, когда происходила встреча лицом к лицу со спасенными. Вы расспрашивали этих людей, использовали их записи. Михал Гловинский, Бета Фицовская. Кажется, самым трудным был тот момент общения с Фицовской, когда она не соглашается на некие договоренности и каким-то образом отказывается от сотрудничества.*

— Я много лет знаю Эльжбету Фицовскую и безумно ее люблю. Она всё время размышляла, хорошо это или плохо, писать об этом — «но, может быть, Аня, лучше не надо». Но когда я отдала ей текст на утверждение, она его приняла. Потом сказала, что всё же сомневается, снова сидела над текстом несколько недель и снова приняла. Разговаривала с редактором фотографий, дала нам снимки, просила поместить фото одного мальчика, который изображен с ней на снимке, потому что она думает, что этот мальчик тоже был евреем. Она очень мило с нами сотрудничала, и вдруг что-то произошло, но это было уже без меня, так как Эльжбета даже не позвонила мне, только в

издательство. А потом отказалась. Юрист издательства сказал, что от текста, который автор уже утвердил, нельзя отказаться. Но я решила, что к детям Холокоста это не относится. Мне трудно это понять.

— *Какой-то слом.*

— Да, слом. Я позвонила Бете, и она сказала, что нельзя писать, что Сендлер спасла не две с половиной тысячи детей, потому что ведь есть школы, названные ее именем, нельзя писать, что она была коммунисткой, потому что я знаю, как сейчас относятся к коммунистам. А мне кажется, что ужасно плохо навязывать детям такую ложь и фальшь; тем более с учетом того, что сейчас говорится о коммунистах, пусть эти дети знают, что польская героиня была коммунисткой, это немного расширит, усложнит образ, заставит подумать. Я не принимаю аргументов Фицовской, не согласна с ней. Что тут скажешь. Но я признаю ее право на собственные взгляды. Однако это был не самый трудный момент в моей работе. Были очень трудные моменты, и по вопросу Едвабне, и по Сендлер, разговоры с людьми, пережившими Холокост в сознательном возрасте. Это не относится к Бете Фицовской, которой было шесть месяцев, а потом ее спас один-единственный человек, пани Буссольд, ее приемная мать — и там, у нее, она как сыр в масле каталась. Но на долю большинства детей выпали жуткие переживания. Даже в беседе с Михалом Гловинским, который уже столько раз это описывал, я видела, чего ему это стоит. Где эта граница, что еще я могу испытать? Я знаю, что потом эти люди не спят по ночам, и им вспоминается всё это. По образованию я психолог, воспитанный в 70-е годы на гуманистической психологии. Мы считали, что самое главное — это чтобы человек раскрылся, что если он раскроется и начнет рассказывать, то это уже начало пути к излечению. С таким подходом я разговаривала в Едвабне, веря, что помогу своим собеседникам тем, что разговариваю с ними. Потом я увидела: одним это помогает, другим — нет. Помню Меира Ронена, который потом не спал, и целыми ночами к нему возвращались все самые страшные воспоминания. Помню разговор с Авигдором Кохавом, который встречался со мной несколько раз и каждый раз говорил одно и то же — то, что он уже написал в Яд ва-Шем. Слово в слово, как будто он читал вслух несколько десятков страниц, ведь это были многочасовые беседы. Он замкнулся, и я видела, что если задать ему какой-то вопрос, это выбивает его из колеи, и он просто начинает задыхаться, а у него был рак горла.

— *Но это еще, наверное, действовало психосоматически?*

— Да, он реагировал психосоматически.

— *Я была на оглашении результатов конкурса магистерских работ им. Яна Юзефа Липского в качестве научного руководителя с лауреатом Дарией Новицкой, которая писала о Ежи Фицовском.*

Туда пришла Бета Фицовская, а профессор Михал Гловинский был в жюри. И они говорили друг с другом об обычных вещах. Это были двое детей, которых спасла Сендлер. Достаточно было бы этих двух человек, а переносить это на большие числа — просто бухгалтерия. Всякий раз есть отдельный человек, и второй, и третий, и пятый, и они знают друг друга, встречаются. Когда пишешь о человеке, который их спас, за этим стоит необыкновенное волнение из-за того, что эти отдельные жизни сохранены, и каждая из них важна.

— Конечно, каждая из этих историй трогательна. А такие цифры берутся из убеждения, что безумно важно, что о нас подумает за граница. Цифры должны быть большими, чтобы выглядеть убедительно. И Сендлер, действительно, убедила, потому что речь шла о двух с половиной тысячах спасенных детей. В два раза больше, чем у Оскара Шиндлера. Когда просматриваешь интернет-страницы, то на американских чаще всего видишь: «Женщина, которая спасла вдвое больше людей, чем Шиндлер». Для распространения пропаганды о масштабе польской помощи такая цифра очень полезна, но для того, чтобы сказать правду о Холокосте, она не годится. До войны в Польше было больше миллиона еврейских детей, а на территориях, оккупированных немцами, выжило пять тысяч. Это и дети, спасенные в Освенциме, и уцелевшие в трудовых лагерях в Германии, так что мысль о том, что одна женщина спасла половину из них... Эта цифра лжет не о достижениях Сендлер, поскольку ее смелость и достижения несомненны. Достаточно спасти одного ребенка, чтобы спасти весь мир. Она лишь лжет о Холокосте.

— Пришло ли в Польше время писать и читать трудные книги? Я спрашиваю потому, что вновь актуальна фраза Норвида: «Мы никакое не общество, мы большое национальное знамя». Оно все сильнее развеивается, слова Норвида все более актуальны. Такие книги, как ваши, высоко ценятся, номинируются на премии, но при этом рассматриваются как пища для языка ненависти... Может быть, настало время, когда нужно писать именно трудные вещи, потому что это не позволяет нам сохранять иллюзии, будто всё прекрасно? Может быть, трудное чтение поможет нам не до конца превратиться в однородную массу?

— Мне кажется, что для этого подходит любое время. Конечно, сейчас оно намного хуже, чем в 2000 году, когда поднялся шум вокруг книги Гросса «Соседи», но ведь и тогда эта книга пробивалась очень тяжело. Это значит, что трудные темы трудны в любое время. У меня есть ощущение, что мы — те, кто этим занимается, а также люди, которые нам помогают, берут у нас интервью и присуждают нам премии, — становимся все более одинокими островками в море безразличия ко всему, что не относится непосредственно к реянию на ветру знамени

коренной польскости...

— *Это вытекает из конформизма, из бездумности?*

— Наверное, из того, что у каждого из нас есть хорошие и плохие инстинкты, и что политики обладают большим умением играть на плохих. То, что сейчас извлекается из поляков — это ресентименты, чувство уязвленной гордости; усиливается всё плохое — отсутствие эмпатии, страх. Легко привести в движение эту плохую часть нашего я, и нужно очень хорошо осознавать это, чтобы самому не попасться, если не на этот, то на какой-нибудь другой крючок. Это требует труда.

— *Я хотела бы еще спросить вас о фотографиях. С самого начала они — в больших количествах — сопровождают ваши тексты. И как-то эти тексты обрамляют, охватывают. Так было с книгой «Мы из Едвабне», конечно, с обложкой первого издания: с этим негативом, форзацами; книга начиналась с фотографии и заканчивалась фотографией. Сначала живые люди, потом убитые. В «Сендлер» снимки, выводящие из тени ее сотрудников. Ведь так же, как в тени Корчака теряются Стефания Вильчинская или Эстера Виногرونувна, так в тени Сендлер — другие люди. Мы говорим: Сендлер и... сотрудники. Фотография особенно важна для вас?*

— Да. Подбор фотографий всегда занимал у меня море времени. В случае с «Сендлер» над этим как раз работало издательство, консультируясь со мной, но, что касается Едвабне, это были мои собственные поиски. Когда я что-нибудь пишу, я всматриваюсь в фотографии. Когда рассказываю о детях, важно найти какой-нибудь их снимок, где они дети, а не взрослые. Ведь глядя на лицо восьмидесятилетней женщины, мы видим кого-то другого, не маленькую девочку, которой она была тогда. Это совсем другая история. Люди, которых спасла Сендлер, давали мне свои взрослые снимки с ней и очень хотели их опубликовать. А то, о чем я рассказываю, это не та история. Речь идет о той истории, в которой они — маленькие, одинокие дети, сами по себе. Фотография выстраивает текст, позволяет нам вчувствоваться.

— *Фотография, может быть, доходит даже раньше. Ведь многие вначале листают книгу. Они видят маленького симпатичного мальчика, это Михал Гловинский, а взрослый господин профессор выглядит совсем иначе. То есть, существует контакт между человеком, который смотрит на фотографию и пишет, и тем, кто читает и начинает со снимка...*

— Да, поэтому здесь и нет ни одного снимка взрослых спасенных.

— *В конце мне хотелось бы задать два наиболее личных вопроса. Первый звучит так: что значит сегодня быть еврейкой/евреем в Польше? В книге «Мы из Едвабне» вы пишете об открытии своего*

еврейства, это параллельный сюжет, как бы вдвойне травматичный, но и радостный, необычный. В этой Польше, в которой Сендлер рассматривают как польку, спасавшую евреев, Праведницу, и в то же время отвергают ее как опасную коммунистку, ужасную филосемитку — что это значит?

— Я могу сказать, что это значит для меня. Многие евреи или лица еврейского происхождения являются частью сообщества польских евреев. Я — нет, у меня нет склонности принадлежать к коллективу. Когда я слышу о польско-еврейских отношениях, то думаю: какие «польско-еврейские отношения», где эти евреи, здесь речь о польско-польских отношениях. Я чувствую себя частью польско-польского диалога, или же отсутствия этого диалога. В то же время главная часть моего еврейства — то, что моя бабушка погибла в гетто, и память о других людях, которые гибли в Холокосте. Собственно, это и есть моя исходная точка, когда я что-то пишу, а не мое поколение и евреи, живущие сегодня. Мы все поляки, только у нас разные корни. Быть евреем означает для меня, что я испытываю какие-то чувства к государству Израиль, потому что я страшно расстраиваюсь из-за того, что там творится: что имеет место оккупация, и что там настолько правое правительство. Если меня это расстраивает, значит, мне это небезразлично. Но это, наверное, потому, что там живет моя дочь Оля. А вся эта моя идентификация — она с призраками.

— Знаю, что спрашиваю об этом сразу после только что написанной книги, но присоединюсь к любопытству всех ваших читателей: намечается ли что-нибудь новое?

— Во-первых, я закончила книгу, которая выйдет осенью, о Яцеке Куроне, биографическую, толстую, которую мы писали в соавторстве: сначала с Иоанной Щенсной, потом Иоанна отказалась, несколько лет я работала над этим с Хеленой Лучиво. Я с перерывами, а Хелена — всё время. Сейчас я отправляю в издательство три главы. Примечания к «Сендлер» — ничто по сравнению с количеством примечаний в «Куроне» и по отношению к тому, что мы прочитали о нем. Теперь я это вычитываю, и это какое-то безумие, я уже обещаю себе, что никогда, больше никогда не буду столько работать над книгой. Хотя работа над биографией Куроня была для меня очень полезна, ведь я постоянно читаю о Холокосте, а это как глоток свежего воздуха — возможность рассказать о столь фантастической личности, как Яцек. Это меня немного восстановило. Я закончила биографию Яцека и снова взялась за свои тёмные темы. Нахожусь на начальном этапе сбора материалов для книги о детях, которых еврейские организации выкупали после войны у поляков, в основном, у польских крестьян.

— Благодарю вас, для меня это большое событие — возможность

поговорить с вами, особенно после того, как я прочитала (исписав каракулями все поля) ваши книги. Я всегда нахожу в них очень многое.

— Большое спасибо.

Варшава, 16 мая 2018

Перевод Владимира Окуня

CzasKultury

-
1. Передвижная фотовыставка и альбом с довоенными фотоснимками польских евреев. — Примеч. пер.
 2. В документальной книге Яна Томаша Гросса «Соседи: История уничтожения еврейского местечка» рассказывается об убийстве сотен еврейских жителей городка Едвабне их польскими соседями в июле 1941 года. — Примеч. пер.
 3. Вестерплатте — полуостров на польском побережье Балтийского моря под Гданьском, где с 1 по 7 сентября 1939 года гарнизон польского военного склада героически держал оборону против немецких войск. — Примеч. пер.
 4. В марте 1968 г. после студенческих волнений властями ПНР была развязана масштабная антисемитская кампания. — Примеч. пер.
 5. Устная история (англ.) — Примеч. пер.
 6. Ирена Сендлер (1910–2008) — польская активистка движения Сопротивления, спасавшая еврейских детей из Варшавского гетто. Удостоена звания «Праведник мира». — Примеч. пер.
 7. «Жегота» (Совет помощи евреям) — польская подпольная организация во время Второй мировой войны. — Примеч. пер.
 8. Шмальцовник — шантажист, вымогавший деньги у скрывавшихся евреев, либо за вознаграждение доносивший на них немецким властям. — Примеч. пер.
 9. Иоланта — подпольный псевдоним Ирены Сендлер. — Примеч. пер.
 10. Через несколько дней после нашей беседы книга получила премию им. Рышарда Капущинского за литературный репортаж и была номинирована на литературную премию «Нике». — Примеч. автора.
 11. ППС — Польская социалистическая партия,

существовавшая в 1892–1948 годах — Примеч. пер.

12. Гетто за партами — место для национальных меньшинств, специально выделенное в учебном классе или аудитории. — Примеч. пер.
13. Польское подпольное государство — объединённые подпольные военные, политические и гражданские организации в оккупированной немцами Польше в годы Второй мировой войны. — Примеч. пер.
14. ППР — Польская рабочая партия, коммунистическая партия, существовавшая в 1942–1948 годах. — Примеч. пер.

Смутная свобода

Посвящаю Матери

ТРАКТАТ ПЕРВЫЙ О ПОХИЩЕНИИ ПЛОДОВ

*«И сделал господь Бог Ядаму и жене его одежды кожаные и одел в них и сказал: вот, Ядам стал как один из нас, познав добро и зло...»
Весьма чудесная история о сотворении неба и земли, 1551*

Кто хочет похищать плоды, тот для начала должен обзавестись двумя вещами: родным краем и детством. Лишь после этого сможет он подумать о правилах искусства, строгих и требующих бесчисленных изысканий в области садоводства и психологии. Первые теоретики позволяли увлечь себя внешней стороне (например, хрупкости белого налива), и адепт, вместо формул и советов, находил тексты, бывшие, скорее, документом их гедонистических наклонностей, нежели научной суммой искусства хищения лакомых фруктов. В народе нашем многое нужно подправить, многие вековые предубеждения следовало бы развеять; вот и неудивительно, что большинство источников, которыми я пользуюсь в настоящем трактате, происходит из иностранной литературы, прежде всего, провансальской и итальянской. В документах Гродского суда в Санокке упоминается лишь об обычных похитителях плодов, опустошавших сады без всякой оглядки на вид и здоровье дерева, затем чтобы поутру продать подпольным варщикам повидла несколько мешков побитых фруктов.

Для своего труда, первого у нас, многое почерпнул я из традиции. Большой помощью был для меня собственный опыт, а также воспоминания известных в Саноцком повете садоводов^[1].

Итак, отдаю этот трактат мой в руки Братьев-поляков, дабы детскую мелюзгу вовлекали они в оное искусство и, упаси Бог, не бранили. Ведь не хлебом единым жив человек, но и стремлением. А стремление к вещам запретным горы движет.

Что такое сад?

Сад, который у нас небрежно прозывают и огородом, это место,

огражденное забором или, хуже того, стеной. Заборы выглядят по-разному, но чаще всего встречаются следующие: деревянный и из колючей проволоки. В обоих случаях открыть проход ничего не стоит. Доска позволяет отодвинуть себя не хуже шторы, а отогнутая вниз и вверх проволока просто манит своим дельтовидным лазом. Труднее обстоит дело со стеной, тем более, когда сверху она жестоко нашпигована битым стеклом. До 1939 года с этой целью использовались бутылки из-под пива^[2].

Встречались, хотя и довольно редко, сады, открытые в поля. Войти туда можно было без труда, но лишь до жатвы. Не стоит ведь объяснять, что на голой стерне даже куропатке нелегко прижаться к земле.

Внутренность сада

Там, в самую первую очередь, есть старые деревья, раз в два года скрипящие под грузом пузатых яблок и фиолетовых, как облачение ксендза в Адвент, венгерок. Есть там и вишня, но ближе к окнам, чтобы легче было отгонять галок, лакомящихся плодами. По колено в раскопанном картофельном поле стоят груши — одна в обилии несет сыпучие, канареечно-вощенные плоды, другая же шлепает ими о землю, словно каменщик раствором.

Помимо рослых деревьев, знающих обычаи времен года, есть у садовника и другие. Весной воткнул он в почву два-три тощих и сучковатых прутика, из которых (пусть и с небольшим опозданием) разворачиваются большие-пребольшие листья, а потом распускается несколько бледно-малиновых цветков. Этими черенками садовник дорожит, как зеницей ока, и если благоволение солнечных небес позволит созреть первой паре яблок, то деревце, поддерживаемое и лелеемое, познает привилегии молодой матери, а плоды избегут общей судьбы. Они кичатся своим первородством на краю дубового буфета и лишь с приходом Рождества загорелая рука отца покатит их по скатерти в сторону взволнованной ребятни.

Уместно было бы упомянуть о крыжовнике и смородине, не забыв ни клубники, ни хрусткой кольраби, но тогда трактат наш свернул бы с указанного пути, и, начав писать о похищении плодов, мы закончили бы на содовой воде с малиновым сиропом, которую так любят поляки в каникулярную пору.

Когда и в каком количестве отправляться за фруктами?

Вергилиево «*Ibat ... tacitae per amica silentia lunae*»^[3], одно из редких упоминаний о походах за плодами, переданных нам латинской поэзией, содержит исчерпывающий ответ. Правда, мы догадываемся, что у Вергилия речь шла о золотых гранатах,

потрескавшихся в кровь от переизбытка лета; тем не менее, в этой цитате, как в линзе, сведен опыт Апеннинского полуострова. Итак, ночью. Ночью, когда летучие мыши настигают тяжелых, веретенообразных ночных бабочек, упившихся допьяна ароматной водкой из резеды. Когда пшеница трещит от сухости, и то там, то сям кометой взрывается колос.

Идти нужно вдвоем, втроем, не толпой. Но только не одному. Ведь надо, чтобы кто-то был рядом, чтобы темнота, отворяемая идущим во главе, тут же не закрывалась бы, чтоб не обрушивалась на спину покровом страха. Нет игры прекраснее. Где-то закрываются двери, еще где-то гаснет окно. Тишина, и достаточно поднять руку, чтобы раскрошить в пальцах ночь, словно ароматную еловую веточку.

Рассмотрим как пример классическую команду из троих участников^[4]. Вопросы о заборах я уже касался выше, здесь лишь добавлю, что один из любителей ночного плода, в принципе, остается у прохода, сделанного в ограждении. Я пишу «в принципе», поскольку, по мере уменьшения опасности, он тоже может присоединиться к двум собратям, орудующим внутри. Поначалу, однако же, надлежит ему быть начеку у лаза, следя, например, чтобы шаги, доносящиеся с мостков, не слишком приближались, и чтобы, в случае появления луны, было кому просвистеть отступление.

Психологическо-моральный профиль предприятия

Сама работа приносит радостей без числа. Я постараюсь упомянуть их поочередно, ведь мы дошли до места, где почти в каждом слове обобщен какой-то весомый фрагмент описываемого опыта. Итак, первым удовольствием является беспокойство. Опасение, что может что-то случиться. Что дом осветится семью окнами, как в день Зосиной свадьбы, а забор вдруг ошестинится колючей проволокой. Что в момент, когда ноги любителя плодов оттолкнутся от земли, поднимаясь по ступеням склонившейся по-верблюжьей яблони, подбежит ОН, садовник — и тогда не останется ничего иного, как только лезть, всё выше и выше...

Не будем забывать о том, что до сих пор экспедиция происходила в *горизонтальной плоскости*. Теперь выполняется вторая, перпендикулярная часть: восхождение. Босые ступни находят (подчеркиваю, находят, а не встречают) опоры вырастающих из ствола сучьев. Любитель плодов нагнетает свое беспокойство и оттягивает жест срывания. Под беседкой летней ночи, опирающейся с одной стороны на город, а с другой на темную спину леса, он тревожно радуется при мысли о преодоленной высоте и всё сознательнее подготавливает руку к жесту, о котором знал с самого начала. Он минует последний

потолок листвы, и частичка тепла вдруг весело касается его щеки. Левой рукой он прикрепляет тело к мачте, а правой кружит над пропастью, нащупывая тот источник, откуда пульсирует безмятежность. Ему без труда попадает плод, величественный в своей наготе.

Солнце давно уже закатилось за Красное море, но верхние яблоки еще сохраняют жар его лучей. Рука, стряхнув негу задумчивости, определяет форму плодов, фиксирует взаимные отдаленности планет и углы наклона. После чего, ухватив одну из них, медленно поворачивает вокруг оси этот детский мирок, будто желая улучшить положение одного прелестного созвездия. И так по три раза, с пиететом.

Здесь я заканчиваю описание одного из удовольствий: беспокойства. С момента овладения плодом кривая вдохновения резко идет вниз. Спускаясь с яблони, любитель несет за пазухой уже просто яблоки. Сморщенные черешки, служащие продолжением хвостиков, царапают загорелую мальчишескую кожу. Место беспокойства занимает *гордость*, гордость, знакомая охотникам, возвращающимся с болот с ягдташем, который украшен благородно переливающимися тушками чирков. Чувство гордости, однако, не проявляется в чистом виде. Первоначальное беспокойство компенсируется теперь несерьезной дерзостью и стремлением к риску.

Возвращение на землю выглядит грубым и шумным соскоком, лишенным всякой, ну просто всякой, метафизической подкладки. Я пишу об этом, ибо хотел бы, дабы мои замечания повлияли на всё новые поколения мальчишек, топающих босиком по нашей прекрасной польской земле.

Теперь юнец шагает напрямик, хотя прежде его радовали тропки из гладко утоптанной глины; давит хрупкие, сонно раскинувшиеся листья капусты и жалеет, что садовник не видит его триумфа. Ему хочется, чтобы о его деянии было немедленно объявлено, чтобы *другие* оценили его важность и исключительность. К сожалению, это тщеславие является одним из удовольствий. Нам больно писать об этом, однако мы хотим, чтобы настоящий трактат содержал всю правду. Может быть, среди обучающихся нашему искусству найдутся такие, что смогут достойно завершить поход за плодом? Всем сердцем желаем им этого. Пусть они будут мужественнее нас...

Несмотря на это, обладатель плода с верхушки дерева — идеалист. Даже стремление к славе, представляющее собой жажду, пожирающую, подобно страсти к спиртному или игре в карты до утра, остается в сфере мысли, не принося, собственно говоря, никакой материальной выгоды.

Вот команда из трех человек, которую я взял в качестве примера для приведенных выше рассуждений, расселась на поручнях мостков. Ноги свешены к шумящему потоку. Плоды

переходят из рук в руки, взвешиваемые на ладони и обнюхиваемые до одурения. Шепот, иногда детские смешки — и наконец, один за другим, хруст разгрызаемых волчьими зубами плодов. Яблоки никто не доедает. Насыщение наступило прежде и имело иную природу. Несколько укусов — это, скорее, еще одно насилие, учиненное над плодом. Это животный, человеческий символ обладания. Вот и весь рассказ. Ученик, читая этот трактат, обдумай каждый его абзац; проследи его геометрию и астрономический аспект. Промерь расстояние, отделяющее первую дрожь желания от жеста исполнения. Вся человеческая природа стоит лагерем между этими часами.

Приложение

В ответ на открытое письмо любителей конопляного семени, тыквенных и подсолнечных семечек.

Меня ожидала большая честь и, что уж скрывать, сюрприз, поскольку фрагмент приведенного выше трактата, опубликованный в одной из приходских газет, вызвал сильный резонанс среди юных читателей; вдобавок, с утра мне принесли несколько писем. Итак, для моих читателей, с авторской мыслью о них, веря, что пожелают они многочисленными подписками существенно помочь моей работе, пишу я следующее.

О похищении подсолнухов

Лингвистика всего мира отдает должное этому удивительному, возносящемуся над другими, растению. *Helianthemum, Corona solis*, вот королевская родословная, коей достойная и нарядная наружность подсолнечника соответствует как нельзя более точно. Говорят, когда-то, в языческих процессиях, в пору борьбы дня с ночью, девушки, одетые в белое, несли над головами круглые соты подсолнечника, еще гудящие пчелами и шмелями. Почитаемое таким образом солнце лило свои щедрые лучи не так, как сегодня. Церковь заменила эту церемонию процессией Божьего Тела, а божественные растения свечами...

Но оставим историю, хотя, просматривая рукописные хроники, можно многое открыть, о многом задуматься...

У самого растения зачаток скромный, серо-буро-белый.

Угловатое семя люди сажают для детей и птиц. И вот на узкой полоске, чаще всего у забора, появляются на свет два беспомощных и толстых первых листа. Вырастая, они стараются не мешать дородной хозяйшке, суевающейся вокруг косматой моркови, либо же щиплющей молоденький укроп для похлебки.

В молодых подсолнухах есть что-то от подростков. Длинные

они и шершавые. Но доброжелательный глаз без труда заметит цветочную почку, предвещающую собой округлую поляну, с которой один за другим будут взлетать мохнатые вертолеты, уносящие нектар на переработку.

Лето в жизни нашего растения — это одно большое раскрытие всё сильнее озаряемого солнцем глаза. Временами синица усядется с краю подсолнечного цвета и — как ни в чем не бывало — клюнет разок-другой. Садовник, с утра инспектируя отдохнувшие грядки, перекрестит диск, отламывая крайние цветки. Тогда открывается серая мостовая из зерен, расстеленных во всех направлениях, словно магический узор.

Тем временем, листья выцвели. Последние огурцы нашли спасение в больших резервуарах. Остался подсолнечник. Одиночество растения, согнутого зрелой осенью, может тронуть любителей природы, но если вести речь о нашей точке зрения, скажем себе коротко: момент настал.

Время суток? Такое же, как с плодами. Количество участников? Не имеет значения. Но это еще не всё. Ведь недостаточно подойти к подсолнечному дереву, нужно знать как. А способ прост, как отче наш. Воткни два пальца, большой и указательный, в толстый, ватный воротник растения. Оторви диск. И ни взгляда на бестолково торчащий стебель; зато беги, беги что есть сил с огромным колесом подмышкой, как если бы сидящие где-то в темноте друзья тщетно высматривали утреннюю зарю.

Подсолнух — это совершеннейшая из плоских фигур. Его следует делить на четверых. В наше время он стал почти наркотическим лакомством гимназисток, читающих Пруста, и ценным блюдом для нервов футбольных болельщиков. Но в заурядности дня большого города, Бога ради, не забудем же о его божественной, с алтарей инков, родословной. Подсолнух, «Soleil sou soucé»^[5].

ТРАКТАТ ВТОРОЙ О РАЗВЕДЕНИИ ОГНЯ, ТАКЖЕ СНАБЖЕННЫЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Бывает, что, идя через луг, стоящий густой травой, заденешь ногой о невидимое препятствие. Если шаг твой неспешен (а таким он и должен быть), ты раздвинешь тенистые стебли, чтобы увидеть, что же тебя задержало. Может быть, ты даже встанешь на одно колено и, отвалив камень, заметишь жуков, пробегающих мимо своих панцирей, дождевых червей, ослепленных дневным светом, а то и муравейник, где хозяйственное насекомое переносит с места на место таинственные белые дирижабли.

Одним словом, если вытащить за скобки красочные подробности, мы в результате получим простую мысль, которую народ наш лапидарно выразил словами: коготок увяз, всей птичке пропасть. Так было и с настоящей штудией об искусстве разведения огня. Прочитав немало трудов с рассуждениями о его природе, а прежде всего, основательный труд Башляра и не менее смелую брошюру маркизы де Шатле, я и на этот раз обратился к собственной практике. Мои средневековые предшественники изучали высокие законы огня и пытались замкнуть в золотой дефиниции его вакхическую природу. Мельчайшую искорку подвергали они доскональным исследованиям. Однако лишь XVIII век сумел глубже вникнуть в суть рубиновой стихии; опыты уже упомянутой маркизы являются главнейшим доказательством этого. Еще до нее серьезные ученые доказали, что свет месяца, даже собранный в увеличительном стекле, не обжигает — но отважная маркиза сделала следующий шаг. «Я собственноручно погрузила, — пишет она в своем труде^[6], — горсть светлячков в очень холодную воду, что, однако, не погасило и не остудило их огня». Эти опыты, несомненно, любопытные, всё же не до конца прояснили жгучие проблемы, хотя бы по той причине, что светляков (вслед за Бюффоном) мы сочли не насекомыми, а июньской стадией между изумрудным вирусом папоротника и живым огнем.

Огонь соединяет землю с небом

Не будь огня, мы ни в коей мере не смогли бы договориться с небом. Честно добавим, что именно небо показало нам этот огневой приём в момент, когда проворный Херувим превратил сухой тополь в яркий жар, к радости промерзших до костей Прародителей. С того времени небесные сферы разбухли подобно шару от бесконечных огней наших. И, может быть, этим можно объяснить оное странное расширение космического здания, уподобленного нами синему в золотые полосы монгольфьеру. Вот так человек поддерживает небесный свод негасимыми огнями. Они же составляют и физическое крыло душ, направляющихся в сторону чудесного сада.

В мудрых руках огонь работает

Мы видели в здешнем королевском музее античное стекло, древнегреческое и халдейское. Восхищались искусностью этих сосудов и мягкостью того огня. Он, который лишь рвет, разрушает и опустошает — в руках благоразумных стеклодувов сотворил пречудные вазы и флаконы. Сегодня чешские мастера славятся изготовлением оных

прозрачных изысков. Такое всё это тонкое и хрупкое, что страшно взять в руки. Иней, а не хрусталь!

Он везде

Удивляет вездесущность огня. Благодаря процитированным уже трудам, мы знаем, что его можно найти во всём — и в малом, и в большом. Содержат его: золото и уксус, волосы и мрамор, а также вода и олений рог. До Второй мировой войны восьмилетний Тадеуш Б. клялся, что у него в комоде есть солнце. Отец, мол, закрыл его в тот момент, когда оно, утреннее, задержалось в зеркале. Мы отдаем себе отчет в том, что слабая научная подготовка, которой мы тогда располагали, частично снижает ценность приведенного свидетельства. Зато нам хорошо помнится другой случай. Дело было уже после первых заморозков. На улицу, заполненную лавками, в которых покачивались подвешенные попарно юфтевые сапоги, выбежал мальчик с пылавшим на ветру, всё сильнее красневшим, листком дикого винограда. ГОРОД БЫЛ ДЕРЕВЯННЫМ. Но взрослые как-то не опасались пожара. Зато мы набросились на безумца и, утопив в ручье этот лист, предотвратили несчастье. Это один пример.

Я знаю также, что букеты желтых одуванчиков, если держать их в обеих руках, давали право ездить поздно вечером и сигналить.

Поедая свежие булочки-кайзерки, смакуя темное говяжье жаркое, напигованное салцем, или грызя хрустящие картофельные хлопья, мы едим огонь. Поедаем символ его мистического общения с пшеницей, картошкой и мясом. Этот последний огонь зовется домашним. Чтобы он был хорошим, советуют топить буковыми поленьями. Дешевле всего их купишь, взяв целую поленницу. Только эти дрова, после того как расколешь их и обдерешь кору, не клади сразу в печь. Пусть просушатся где-нибудь на открытом месте, где ветер и солнце, лучше всего у стены. Если потребуется, выйдешь из кухни и легко принесешь на руках — да и ночью услышишь, если вору вздумается полезть за поленьями. Между этих поленьев вставь грушевые либо яблоневые дрова, от деревьев, побитых морозом — и вокруг дома будет стоять аромат.

Два рецепта, которые я сообщаю, могут пригодиться всем, но особенно скаутам, любителям гребного спорта и еще молодоженам. Они помогут им обратиться к древнейшим традициям человека, почти забытым в век калориферов и мазута.

Студентов игнистики (лично я предпочел бы «агнистики»), желающих ознакомиться с любопытным документом, отсылаю к приложению в конце настоящего трактата.

Огонь в поле при картофелекопании

Этот костер лучше всего удастся под вечер. Есть такие, что пробуют и днем, но это не огонь, ведь его не видно. Разве что подбросить мокрого, тогда дымит. Но это тоже не огонь. Итак, выбери прохладный, но сухой вечер и действуй так. Подбеги к знакомому окну и свистни. Потом вдвоем бегите еще к одному окну и посвистите. Ведь, как я уже писал в другом месте, такие вещи лучше всего предпринимать втроем. Теперь осталось только выбрать поле. Подойдет такое, с которого уже вывезли картошку, и осталась лишь ботва. Также неплохо, если хозяин живет далеко. Пока еще видно, беги другие участки. Это пригодится.

Начать с пляски в том месте, где будет разведен огонь. Бить пятками, пока мягкая земля не заблестит, как на току. Но не садиться. Вырвать, насколько это возможно, ботву и обложить ею оное место. Теперь всю нежность направить на горстку сухих листьев, либо перехваченный в осеннем полете клочок старой газеты. Говорить шепотом и избегать резких движений, чтобы это удалось. Аккуратно класть стебель за стеблем, избегая, как воды, полыни, которая страшно шипит и по-жабьи плюется. Подожди это. Все вы должны встать на колени и заслонять от ветра, даже если он едва дует. Только когда пламя брызнет сквозь дым, подкладывать, но внимательно следить, чтобы рука легко кляла топливо, в противном случае сменить руку. Уже можно говорить вслух. Лишь теперь это огонь. Тем не менее, проверь, поднимается ли он вверх, ведь так определила его первичный характер Флорентийская академия во времена, когда отцы наши обрели там знания. Он должен охотно подниматься кверху, фыркая, словно гнедая, почуявшая фураж.

Бесполезные советы

Здесь, что бы я тебе ни присоветовал, знаю, что делать ты будешь одно, а именно пляски, крики и озорные прыжки через огонь. Прыгай себе, покрикивай, ведь без этого не бывает настоящего костра, и помни, что огню причитается с тебя дань в виде опаленных бровей и ресниц. Случается, что приблизятся девчонки. Не подпускай их слишком близко. Они должны стоять вместе, обнявшись за талии, и смотреть. Тогда подкинь стеблей, а когда займется, прыгай дальше, извлекая с каждым прыжком клубы дыма и поднимая из костра трескучие снопы искр.

Потом схвати какой-нибудь стебель потолще, с красным концом, и подбеги к девчонкам. Испуганного визгу будет вдоволь. Но дольше побыть там им не дадут мамы. Теперь время печь картошку. Бегом на поле, где ее еще не выкопали. Пригнись к борозде и запусти руку под бугорок.

Нащупай те, что покрупнее, и в карман. Если попадутся под руку бобы или фасоль, сорви немного. Они хорошо пекутся. Теперь разгреби угли, посчитай и положи картофелины. И пусть все знают количество. Такой уж обычай. Теперь можно рассказывать. Лучше всего, о том, как рождаются дети; но можно просто смотреть на огонь, как он поднимается в ночи, как пытается зажечь темноту и как опадает назад. Сидеть нужно кружком, всегда лицом к огню. Картошку есть вместе с черной кожицей, обжигаясь и ни за что на свете не обтирая испачканные губы. Не нужно, чтобы приходили взрослые, ведь они сразу велют петь «Разве не жаль тебе, горец» и другие грустные песни. Огонь тушить землей, а не *по-другому*, ибо это грех.

Как огонь над водой разводить

Кто хочет разжечь такой огонь, пусть вначале бросит в реку несколько удочек, украсив крючок лакомой приманкой: дикой черешней на ельца, червем на костюшку, усача и угря. И не забывать о свинцовом грузиле. Теперь ополосни руки и, ходя по каменистому берегу, то гляди, как течет вода, то собирай нанос; а это куски дерева и ветки, принесенные половодьем и отмытые постоянным трением о камень и песок. Если есть время, присматривайся к их округлостям, води пальцем по белым щечкам камней, которые, хоть и бесполезны, но содержат в себе много долгожданной, притягательной красоты. Потом найди плоский камень, тихо обмой водой, так, чтобы не спугнуть рыбу, и положи его ровно, но не дальше чем на шаг от кустов ивы (их должно быть два). Отыщи еще две каменные пластины, тоже вымой и поставь домиком над той, что уже лежит. Теперь нащипли самых тоненьких, сухих веточек и положи под этот домик. Легко сыщется и обрывок бумаги. Чиркни спичкой (но второй пусть заслоняет курткой), вот тебе и пламя. Пусть второй теперь поддерживает огонь, а ты бегом на берег и вытаскивай поочередно удочки. Если дело к дождю, то рыба хорошо клюет, и легко ловятся усачи. Не брезгуй и пескарем, но выпотроши его, посоли и повесь на живой ветке в щели каменного домика. Закоптится отлично. А угорь, вот это взаправду пир! С таким огнем дождю не совладать, только обожжется пузырями на камнях. А ты свяжи верхушки густого кустарника и усаживайся в этом шалаше на теплый песочек. Мелкий дождичек зальет весь свет сизым холодом, а вас даже не найдет. Бывают такие пескари, что как закоптишь его, то жир по пальцам стекает. Можно и евреям продать, лучше всего в четверг или поутру в пятницу.

Приложение

Документ сей автор предлагает вниманию читателей,

поскольку это первое подлинное свидетельство касательно купальных огней. Один заслуженный исследователь игнистики, первым пошедший в народ за знаниями, достоверно записал оное повествование участника ночи перед Иваном Купалой.

«Я, пастух Ясек, три года выгоняющий коней на тот луг, что за ольшаником, никогда еще не видал купального огня. Вечор мы не спали, а как у францисканцев за водой (за Саном, то бишь в Саноке, примечание автора) пробило двенадцать, мы побежали в лес. Темно было, хоть глаз выколи. Хвоя хлестала по роже, а папоротник до подмышек доходил. Рвали мы, рвали, а вдруг где цветок найдется, но без толку, и тут над головами: бж-ж-ж-ж-ж... Пчелы али мухи, думаю я про себя. А это туча светлячков, только фью-ю-ю-ю! — пронеслась у нас над головами. Густо летели, с тысячу их было. Хорошо, что мы головы наклонили, а то бы шапки занялись. Только хотели мы словом перекинуться, а они назад. Фью-ю-ю-ю!, и так пять раз. Вышли мы потом из зарослей, армяки от росы тяжелые, и воротились к огню. А было нас семеро, трое деревенских и четверо с усадьбы».

ТРАКТАТ ТРЕТИЙ ОБ ИСКУССТВЕ ЛЕТАНИЯ

Труд сей, более, нежели какой-либо иной, предназначаю для самых младших друзей. Верю, что будет он им полезен в день, когда низкая, поросшая многими травами земля наскучит им; в день, когда, покинув дождевые лужи и речной песок, увидят они ДЕРЕВЬЯ И ПТИЦ.

О всевозможных полетах

Полетов есть столько, что и не сосчитать. Один поспешен и полон шума, как у куропаток, когда спугнешь их из борозды; иной у щеглов, медленный — то высокий, то низкий — как плохо натянутая на многих жердях бельевая веревка. О таком полете один нидерландский птицелов пишет: «Есть птицы, что волнистый слой воздуха среди прочих найти умеют. А дело это нелегкое».

Но из всех чудеснее, поверь мне, воздушная жизнь орлов и ястребов. Это я испытал в детстве, немалое счастье при том изведав. Так испробуй и ты, самый молодой мой читатель, это небесное, между землей и твердью, существование. Имей в виду, что время твое коротко, от бумажного кораблика и до первой любви. Потом от земли тебе уже не оторваться ...

Лучшее время для полетов

Тут все светила орнитологии, а также знатоки воздушного

парения сходятся до йоты. Ибо единственное время года предназначила для этого Природа, а именно осень. Именно в эту пору и ни в какую другую снимаются для долгого полета: гусь ржавого и белого пера и пугливый вальдшнеп, летящие в теплые края. В эту пору сама Природа зовет нас в полет, развешивая в сухом и прохладном воздухе длинные седые нити, представляющие собой ничто иное как первую молекулу летучего вещества. Наша деревенщина прозвала эту щекочущую пряжу «бабьим летом», что является обыкновенным вымыслом. Также и листья цвета старого золота, летящие по ветру, указывают на оную пору летания. Но разумнее всего поступают: семя одуванчика и плод клена. Они позволяют ветру нести себя по небу так долго, пока не углядят какой-нибудь благоприятной почвы; тогда они опускаются, вращаясь, как если бы лежащая на краю небес в белых пальцах прялка скручивала вертикальную ось их полета. Вот с них-то мы и возьмем пример.

Но будь осторожен

Прежде всего я скажу тебе кое-что. Ты должен быть честен с воздушной стихией. Не применяй никакого коварства и никаких хитростей. Потому как был один такой, что перемудрил и упал в море. Это давняя история. Но я помню другого, что вышел на стерню с огромным воздушным змеем, спугнул его под тучи, а сам, потягивая за веревку, то вел эту махину к земле, то вновь давал ей призрачную свободу; и без конца терзал ее той конопляной веревкой. Пока не унесло его и не потащило за Сан и за дремучие леса. Были при этом: колесник Филипчак и один такой переписчик из суда — но можешь поверить мне и без их свидетельства.

Полет

Итак, выйди на какой-нибудь берег, либо на крутой пригорок, но когда самый сильный ветер. Стань наверху, возьми в горсти полы расстегнутой куртки и позволь идущему из долины порыву ударить в тебя дважды, а лучше трижды. Тогда ты можешь положиться на ветер. Он удержит тебя, не бойся. Оттолкнись, и полетишь, паря к долине, лишившись дыхания и памяти. Лишь внизу остановишься ты в радостной усталости. Может быть, даже птичье перо найдешь в волосах, кто знает. Старшие, как обычно, не поверят. Будут строить разные инсинуации. Прости им, ведь они словно каплун, завидующий голубям.

Другой полет

Припомни то, что я уже говорил о летучем семени клена и выведи из этого мораль. Впрочем, скажу тебе. Нужно

постепенно снижаться. Это спокойный полет, и тем он отличается от первого. Выбери себе (но не в одиночку) какое-нибудь дерево, растущее в саду. Земля под ним должна быть мягкой, отлично подойдет грядка с салатом или огурцами. Ведь тогда она пышная, как пух. Поплюй на ладони и давай на дерево! Уже наступив на ветку, попробуй ее ногой, крепкая ли, немного раскачай ее — а как почувствуешь, что раскачался выше некуда, обопрись на бездну. Даже руки в стороны не растопыривай, а какой смысл? А когда уже будешь приближаться к земле, помни о том, чтобы приземлиться на пальцы, согнув при этом колени. И тотчас же назад, к дереву: ведь так летать, это всё равно, что для взрослых пить вишнёвку — после первой сразу вторая — иначе не ощутишь вкуса пространства.

О высоте ветки не пишу. Ведь у тебя нет ни счета, ни меры для своей смелости. А верный друг пусть летает с тобой, потому как немудрено и лодыжку вывихнуть. Тогда помощь будет кстати. Добавлю, что вместо дерева ты можешь выбрать крышу какого-нибудь сарая, тоже неплохо. Если ветрено, то летишь дольше.

Когда и как обустроить гнездо

Раз уж ты испытаешь полеты и хорошо освоишься в этом упражнении, советую тебе: поселись на дереве. Ведь летание служило тому, чтобы перестал ты тосковать по земле и полюбил это зыбкое повисание в пустоте.

Есть липы, половиной ветвей свесившиеся над водой. Там высмотри разветвление сучьев, натаскай туда гибкой лозы и не забудь выложить закругление сеном. И заживи там. А когда наступит конец июня либо начало июля, услышишь великий шум. Отвори дерево, ибо это пчелы и всякий перепончатокрылый сброд, прибывший на медосбор. Сытое урчание будет над тобой и вокруг тебя, а когда голос матери позовет тебя на обед — сына будет не узнать. Столько золотистой пыльцы, столько невидимых гитар и мандолин принесешь ты на себе, недовольный, но счастливый.

Можно и выгоду извлечь. В холщовую сумку нарви липового цвета; пригодится в зимнюю пору. Возьмет мать сухой букетик и заварит кипятком, да впустит в отвар ложку засахаренного меда. Нипочем тогда тебе морозная крупа, секущая по стеклам, нипочем свист ветра под крышей. Ты король. Только не забывай в такое время о синицах. Залей конопляное семя топленым салом и повесь на жердочке от фасоли. Будут птицы садиться и вертеть головками, как дурачки, то туда, то сюда. А в избе пусть потрескивает огонь из буковых поленьев.

Иной воздушный путь

Отыщи гору, усыпанную стройными деревьями. Выбери там

себе десятка полтора деревьев, чьи кроны дрожащим серебром цепляются одна за другую. Говорю тебе, нет баловства радостнее, чем перелетать с дерева на дерево. Помни только, чтобы в полете не стрелять глазами по сторонам. Пусть себе щурка кивает красной головой, пусть там по земле скачет дикий кролик — не обращай на это внимания. Дыши глубоко, но неспешно. И следи только, чтобы не спутать направление и добраться до нужной ветки. Так ты можешь летать, когда сухо. После дождя кора затронута чуждым элементом и уже не столь благосклонна к твоим рукам. Если бы не голод, на землю можно было бы и не возвращаться.

Вопрос и ответ

А разве не лучше было бы смастерить какие-нибудь крылья, широкие и сильные, и выйти на них под ветер?

Никогда в жизни! Это, пожалуйста, оставь другим — тем, у кого нет юношеской гордости и веры. Тем, кто сторонится июньских гроз, раскрашенных синью молний, тем, кто не бегал нагишом под ливнем, принимая на плечи поток дождевой воды, пахнувшей металлами.

Повторяю, коротко то время, в которое можешь ты испытать полеты, но зато необъятные небеса берут тебя на спину и несут над шелестящими травами. Только так, поверь мне, обучишься ты жажде великого.

А когда зима отряхнет твои деревья от обильной листвы, когда завалит снегами косогоры, над которыми ты пролетал, пора возвращаться домой. Там ждут верные друзья — книги. Они и расскажут тебе, как рыть пещеры, пахнущие корнями деревьев и холодной слюдой, как приручать самых диких шмелей; еще ты прочтешь в них, как правильно смешивать серу, селитру и уголь.

А когда-нибудь, в каком-нибудь завтра, ты передашь юной братии это высокое искусство летания. Так поступаю и я, и так будут поступать после меня. До тех пор, пока на этом свете есть дети и деревья.

ТРАКТАТ ЧЕТВЕРТЫЙ О СМУГЛОЙ СВОБОДЕ

Как с нею можно встретиться

Дело это трудное, и в нем не имеется никаких правил; нужно лишь заметить, что месяцы май, июнь и июль наиболее этому благоприятствуют. Хотя немало людей утверждает, что, скорее, осенью, у вереска, можно ее повстречать, эту смуглую свободу. Скажу тебе, читатель, одну вещь, ничего не утаивая. Здесь, как и везде, терпение с доверием способны на всё. Но помни и о доброте. Итак, выбери добрый месяц май. Выйди под вечер, когда мальчишки, вооружившись ивовыми веточками, ждут

первого налета майских жуков. Выйди на дороги, где больше всего развилок, и смотри на запад, да глаз не заслоняй. После долгого ожидания, ручаюсь, заметишь ты кибитки, донесется до тебя звон колокольчиков и собачий лай. А как подъедут, крикни им: «Бог в помощь!». А май поблагодари за везение.

Об их занятиях

Умеют они многое. Камень толочь, котлы ковать, наигрывать на варгане и водить ученых медведей. Знают и как старым лошадям вернуть ушедшую молодость, а из-под седой шерсти вывести наверх вороную. Есть среди них золотоискатели, что, повиснув над карпатскими потоками, только и делают, что моют и моют ситами песок, расставив предварительно сторожей, чтобы глаз непосвященного не подглядел ни место, ни способ. Потом самородные золотые дробины, зашитые в узкие мешочки из козьей шкуры, продают они на Угорщину и далее, до самого Стамбула.

Но чаще всего встретишь среди них чародеев, обученных гаданию. Недоверие современного человека беспримерно, так что тем паче следует восхищаться их усилиями, которые нередко увенчиваются точным результатом. Автору настоящего трактата приятно признаться, что с раннего детства он придерживается гадания одной старой, высокой цыганки, которую мать угостила тарелкой ароматного грибного супа. Ведь это предсказание так точно прилегает к истории дней и дат, что отступить от него даже на шаг было бы равносильно несчастью.

Разные разности о них

Они удивляют различными свойствами, мужчины хитростью и благородным воображением, а женщины красноречием и несравненной убедительностью. Никогда не видел ты, читатель, столько золотых зубов сразу. И столько халатов, светло-кремовых и пурпурных, внутри которых, глубоко-преглубоко обитает смоляное тело цыганки.

Или такое. Сидит себе их темнокожая девица и косы заплетает, но раз за разом отщипнет полоску дыма над огнем и вплетет промеж волос. Говорят, что если какого парня хлестнет она такой косой по лицу, то конец; он уже раб, прислужник смуглянки-госпожи, а не мужчина.

Их природа

Она странная. Может, это и правда, что в давние времена колесили они в кибитках по индийскому краю, а потом откуда-то от *Mare Nostrum*^[7] перекочевали к нам, на холодный *Septentrion*^[8].

С незапамятных времен домашняя птица — их главная пища.

Ловцы они заядлые, но у оседлого населения как-то не находят понимания. Преследуемые законом, установленным людьми *glebae adscripti*^[9], они всё реже охотятся в сельской местности. Также не удивительно, что единственное животное, на которого они выходят вооруженными, сообщая либо в одиночку — это еж. Облепленного глиной, его можно запечь в золе. Они ждут, пока скорлупа сама не полопается от жара, и тогда легко вынимают из нее розовенькое, в форме огромного пасхального яйца, жаркое.

Об их необыкновенном языке

Но самая необычайная из всех странностей — это их язык. Накопили они себе разных слов еще со времен оной индийской родины — и нынче речь эту своим умом не разберешь, такая она корнистая, запутанная и шумная.

Терпеливо работал над их лингвой Ежи наш Фицовский^[10], известный цыгановед и многократный доктор *honoris causa* кланов Кельдерари и Ловари. И сегодня, благодаря нему, самый темный пергамент вразумительным стал. Из его ученых книг беру я и формулу заклęcia, дабы ты, читатель, содрогнулся, повторяя за мной:

«...Сыр ме сом банго — нек ман девел марел, пхагирел, шучкирел; те хациола до момели пре мро гробо. Те явел цудо ке трин дывес, ке трин чхона, ке трин берш».

Или в переложении: «...Если я лжец — пусть Бог меня бьет, ломает, сушит; пусть горит эта свеча на моей могиле. Пусть свершится чудо через три дня, через три месяца, через три года».

«Нек ман девел марел, пхагирел, шучкирел». Жуть забирает, и мурашки бегут по спине — столько в этих словах чертей, плещущих смолой.

Автор трактата видел их священную гору в городе, что зовется Гранадой

Город, хоть правит в нем теперь испанец, утвердивший кресты на месте полумесяцев, это жемчужина Арабистана. Из Альгамбры струится вода по лебединому мрамору, а в садах Халифов медленно, час за часом, опадает искрящийся фонтан. Здесь лишь путешественник поднимает чело и водит глазами. Но жизни здесь не найдешь.

Жизнь есть на *Sacro Monte*^[11]. Тоже гора над городом, а в ней до восхода солнца живут люди, выдолбив пещеру, словно береговые ласточки. Это гитанос, по-нашему цыгане.

Женщины их и дочери танцуют так, словно на землю сошел священный змей. В этой горе находится чрево, в котором танец страсти и жестокий ритм берут свое sprysnutое вином начало. Но это не наши цыгане, по-польски они не понимают.

Заключение трактата

Давно это было, так давно, что только дети помнят те годы, поскольку лишились тогда родителей своих. Взрослые уже забыли.

Вооруженные люди-нелюди сказали тогда, что начнут новое тысячелетие, а натворили вокруг себя лишь новой крови, да новых пепелищ. Они-то и остановили цыганские таборы, забрав у них всё имущество, золото, серебро и мирру. Потом загнали их на поле мора, где под стражей принужден был умирать цыганский народ. Тех, что не упали, а стояли прямо, валили силой и сжигали их тела в огромных печах.

Но уже не помнят этого взрослые. Лишь дети помнят те годы, потому что лишились тогда родителей своих.

Те, что спаслись, вернулись на дороги, по которым столетиями катятся их кибитки, чтобы мы могли верить, что не умерла она, смуглая свобода.

И сохрани это в памяти, дабы детям, когда наступит их майское время, показать развилку дорог.

DE ARTE POETICA^[12] ТРАКТАТ ПЯТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

Среди главнейших благодеяний, которые можешь ты получить от Природы, наряду с ароматом оттепели и солнечной погодой в день вручения аттестатов — поэзия, скажу я тебе, приятнейшая из всех. Доверься ей, и поведет она тебя по жизни, словно мать, тем более, если ты поляк.

Влача свое существование в ста милях от берега, услышишь ты с ее страниц щедрое дерево, что шумной прохладой облекало твою отчизну.

Итак, незамедлительно читайте настоящую штудию, в первую очередь, вы, родители, ибо *ars poetica* есть *ars vitae*^[13]13, а вам самой Природою поручено провести первый урок.

Важные части вышеназванного искусства

Знай, однако же, о том, что труд сей требует незаурядной учености, да и забот немалых. Много в нем частей, но вначале познакомлю тебя с ночной и дневной.

О первой из них

Ночь — плодородная почва, из которой мудро всходит всё дневное. Только послушай. Выйдешь перед рассветом в бор и легко наберешь корзинку крепких боровиков. Откуда они? Ведь вчера их там не было. Этого тебе никто не скажет.

Ночью охотнее всего отлетают дикие птицы, и с удовольствием

идет первый снег. Не говоря уже о любовных делах. Но об этом ты не рассказывай детям слишком рано, разве только то, что ночь этому очень радуется.

Так что проследи, чтобы дитя твое не страшилось мрака, а напротив, любило темноту. Приучай его к тому, начиная с сумерек. Это час, когда высокая и седая женщина начинает протирать льняной тряпочкой стеклышко керосиновой лампы. Вот самый верный признак. В такую пору вели ребенку сходить в другую комнату за коробочкой с пуговицами. А как принесет, отдай ему, пусть играет ими и раскладывает на столе отдельно роговые, отдельно перламутровые.

Летом, когда разрастается ночная фиалка, почти достигая бровей, бери ребенка за руку и веди в сад. Здесь пиликанье кузнечиков, как будто сынок скрипичного мастера, бегая по отцовской мастерской, то тут, то там касается маленьким пальчиком отцовских инструментов. Обрати внимание также на то, чтобы не удерживать постоянно детский взгляд на далекой небесной тверди. Покажи ему и ту совсем невысокую ночь, по которой прямо над головами парит филин, ибо, увидев такое, испытает он большую радость.

Есть и другая ночь, когда подкованные сапоги хрустят по гладкому насту. Пусть в такой час вынесет он поющим на его пороге колядки десять грошей, а ежели их немного, то по горячему сочню. Когда ему пойдет уже десятый год, разреши, пусть вместе с другими, толпой, идет в сыплющийся снег петть колядки — ведь только тогда, только тогда, говорю тебе, можно поверить, что Бог родится, а ночь темнеет.

В сны его не лезь и с утра о них не выпытывай. Ведь позднее детство и ранняя юность, словно лютик, выглядывают из темной трясины ночи золотой улыбкой.

Часть вторая, то есть дневная

Здесь научи его дню, ибо он святее, чем отче наш. Но пусть продолжает любить и ночь; радости ему хватит на обоих. Когда это делать? Лучше всего с утра, когда проснется. Дай ему тогда пухлую грушу, упавшую ночью, а при первых заморозках вынь из лужи льдинку и положи ему в ладошки. Озорно раскрошится она на множество зеркалаец и будет весело таять и капать.

Можно и малыша-кролика отлучить на миг от матери и положить дитяти на руки — но с этим проще, когда живешь за городом или где-нибудь в деревне.

Словом, разбуди несколько раз дитя свое так, как я советую, и увидишь, полюбит он день и всё, что в нем есть: жеребенка, хрупавшего белым сахаром, старые-престарые ели, да и языческие, полные гор и зеленых долин, майские богослужения.

О путешествиях и далеких походах

Многие авторы до меня писывали уже об их важности, прославляя пользу, приносимую ими телу и душе. Да только в трудах этих речь идет лишь о взрослых путешественниках, а детский возраст, наиболее предприимчивый и бродячий из всех, был совершенно опущен.

Поэтому автор настоящих трактатов хочет положить начало огромной хронике путешествий и паломничества детской мелюзги, которая переняла у шляхетского сословия дерзость и национальную фантазию и всё это славно культивирует.

А ты, милостивый воспитатель, читай мои труды самым младшим адептам, чтобы с мыслями о них впадали они в крепкий сон.

Поход за плодами боров наших

Нужна большая река. И чтобы подмывала она горы пенистыми извивами. Иначе будешь идти до бора в скуке и без приключений. А дорога должна грозить опасностями и изобиловать затаенными страхами. Поэтому тебе еще нужно подыскать храбрых попутчиков.

Советую пору бабьего лета, и по многим причинам. *Primo*^[14], в это время меньше всего вод течет по дну реки, ибо мудрая Природа как будто заперла их все в чулане, чтобы с приходом ноября проливными дождями омыть запекшуюся землю.

Secundo^[15], в бору что должно было поспеть, уже поспело. Дуб сбрасывает линялый желудь, бук — румяные орешки, а от зрелых листьев кругом львино и даже леопардово.

Так что выходите вшестером, и чтобы хороший был вожак, такой, что тропинки даже в потемках распознает. Помни о холщовых мешочках, на два отделения, затягиваемых одним шнурком. Туда горбушку хлеба возьмешь, а обратно принесешь буковых орешков да можжевеловых семян.

Хорошо будет выйти после обеда. Идти прямо к лесу, пока река не ляжет вам преградой на тропинку и не задержит полное куража шествие. Тогда пусть ваш вожак пустит плоский камушек по реке, обозначив таким образом направление переправы. Потом пусть, снявши обувь, пойдет вброд и беспрестанно ударяет о дно какой-нибудь палкой — а вы за ним. Правую руку подай назад товарищу, а левую другому, тому, что перед тобой, потому что одиночку может повалить течением. Брод бродом, но вода уже прохладная.

Какой бор искать

Выбери такой, где большое разнообразие деревьев и кустарников. Пусть дубрава мешается с буковым лесом, да и калина с дикой черешней пусть попадаются. Как окажешься среди деревьев, перекрестись потихоньку, ведь в чаще всякое

может приключиться.

Один знакомый молочник по сей день носит шрам, так его пырнул злобный кабан, когда он после дня святого Андрея шел с бидоном в город. Так что примечай всё чутко, ведь кто знает, не напишешь ли когда-нибудь ты какой-либо трактат ради пользы братьев твоих, обжигающих об асфальт босые славянские ступни.

Держи также в памяти, чтобы ног от земли не отрывать, а шуршать ими, бредя по сыпучей листве, ведь нет усталости приятнее этой. А когда замедлишь шаг, чтобы отдохнуть, чтобы прилечь на лесную подстилку, то и не различишь, где ты, а где пустеющий бор.

И еще одно скажу тебе. Полюбишь ты эту землю, остывающую к зиме, и эту пору, когда два времени года обручаются выцветшим листом да снегом. Так же, как молодые кольцом, в коем изумруд.

Какая польза

Есть такие, которые всегда про пользу спросят. Для них имей готовый ответ. Потряси мешками, в которых захрустят буковые орешки и желуди; а матушке, готовящей ужин, высыпи на плиту можжевельных шариков. Наполнишь всю кухню таким ароматом, будто на вечерне у францисканцев. А когда-нибудь, когда в далеком городе придется тебе подать сигнал тревоги, поверь мне — весь тот бор преданно станет в строй. Положись на него, и остановишь тысячу бетонных городов, наступающих на тебя. Такова сила той земли.

Настоящего трактата и всей книги заключение

А где же оное *ars poetica*, счастливо углубиться в которое советовал ты мне? — спросишь ты, юный брат мой.

В пяти книгах сих даю я тебе очерк одного знания, кропотливо добываемого год за годом и до сих пор не добытого. Приступай к нему по-своему. Ведь иным будет мир рождения и детства твоего. Лишь мудрое вращение тверди, да омовение земли в каждую новую весну останутся теми же на все времена.

Кроткой мыслью склоняйся над сим предметом. Следи за его жизнью, начиная от частичек гравия и заканчивая пихтами в пуще, что колышутся в Карпатах от юга до севера.

Поверь мне, поступая так, дождешься ты дня, в который возжаждешь слова. Единственного, ибо твоего.

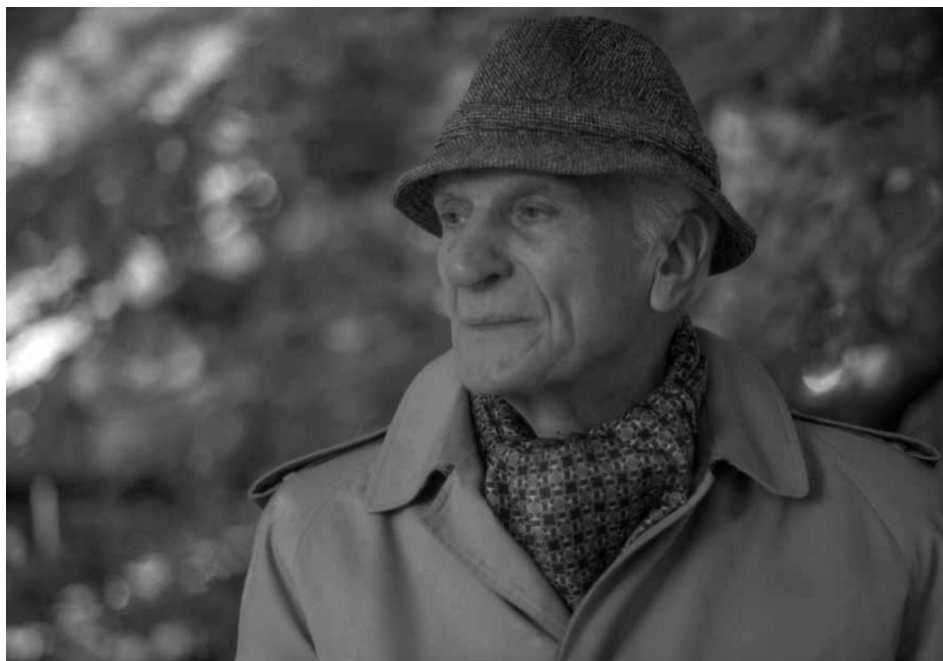
Тогда возьмешь ты лист бумаги и, развернув его на черешневом столе, напишешь сверху: лыжник. Потом, не спеша, наклони этот лист к себе. Ярким снегом зашумит вниз, ручьем инея обрызгает тебя, вспашет высокую борозду телемарком^[16] и удивленное перо твое обдаст зимним холодом — ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ГОРНЫМ ВОЗДУХОМ СЛОВО.

FINIS

Перевод Владимира Окуня

-
1. Здесь я выражаю благодарность, к сожалению, уже лишь памяти Владислава Радванского, чья сарматская любовь к плодоносящему черенку научила меня пригибать ветви плечистых подкарпатских яблонь — Примеч. автора.
 2. На территориях поветов, расположенных по обе стороны Сана, бутылки были родом из пивоварен «Живец», «Окоцим» и «Заршин» — Примеч. автора.
 3. *Ibat ... tacitae per amica silentia lunae* — «В тиши под защитой луны молчаливой ...шли» (лат.), Вергилий, Энеида, II, 255 (Перевод С.Ошерова) — Примеч. пер.
 4. Еще пифагореец Архит говорил: «Счастлиное это число» — Примеч. автора.
 5. «Солнцу перерезали горло» (франц.). Цитата из поэмы Гийома Аполлинера «Зона» в переводе Н. Стрижевской — Примеч. пер.
 6. *Dissertation sur la nature et la propagation du feu*. Paris, 1744 — Примеч. автора.
 7. *Mare Nostrum* («Наше море», лат.) — название Средиземного моря у древних римлян — Примеч. пер.
 8. *Septentrion* — север (лат., уст.) — Примеч. пер.
 9. *Glebae adscripti* — прикрепленные к земле (лат.), крепостные — Примеч. пер.
 10. Ежи Фицовский (1924–2006) — польский поэт, историк литературы, переводчик, автор нескольких книг о жизни и культуре польских цыган — Примеч. пер.
 11. *Sacro Monte* — Святая гора (исп.) — Примеч. пер.
 12. О поэтическом искусстве (лат.) — Примеч. пер.
 13. Поэтическое искусство... искусство жизни (лат.) — Примеч. пер.
 14. *Primo* — во-первых (лат.) — Примеч. пер.
 15. *Secundo* — во-вторых (лат.) — Примеч. пер.
 16. Телемарк — норвежский стиль катания на специальных лыжах — Примеч. пер.

Непокорный писатель



Мариан Панковский. Фото: Э. Лемпп

Непокорность бывает многомерной — чаще всего она ассоциируется с политической позицией, однако ее домен можно распространить и на другие сферы: отношение к традициям, морали или языковым ограничениям. Мариан Панковский (1919–2011) был именно таким непокорным писателем, не поддававшимся навязанным правилам, как литературным, так политическим и экзистенциальным. Узник Освенцима и других концентрационных лагерей, после войны он выбрал жизнь за границей, в Бельгии, где сделал научную карьеру в качестве литературоведа. В 1953–1959 годах был связан с парижской «Культурой» Ежи Гедройца, в которой отвечал за поэтический раздел ежемесячника, будучи также плодовитым рецензентом; наконец, выпустил свою первую прозаическую книгу «Смуглая свобода», за которую — первым — в 1955 году получил литературную премию журнала. Как поэт он дебютировал в 1938 году в львовских «Сигналах», после войны выпустил поэтический сборник «Помпейские песни» (1946). Следующий роман писателя «Матуга идет» не получил одобрения Гедройца, который писал в письме к Ежи Виттлину: «Я не шокирован сексуализмом книги (я поклонник Г. Миллера), но чувствуется искусственность, вымученность, и тогда это для меня невыносимо». В результате автор издал

книгу собственными силами, а его связи с «Культурой» ослабли.

Сам Панковский, отвечая на вопросы о своем инструментарии, признавался: «Я пишу на разговорном языке, а не на польском как таковом, и написанное мною — это речь, живые слова, вывернутые, запретные, подхваченные где только можно». Причем эта, как он сам выражался, «писательская заварушка» столь же касалась политических вопросов, сколь религиозных, да и нравственных тоже. Одна из важных задач, которые он поставил перед собой — пробуждать эмоции читателя, вызывать волнение, что наиболее полно выражено, когда он затрагивает эротические или религиозные вопросы, причем, если речь идет о второй теме — тесно связанной с экзистенциальным опытом, прежде всего, с лагерными испытаниями. Демонстрируемое в этой прозе — например, в романе «Рудольф» (1980) или в книге «Из Аушвица в Бельзен» (2000) — критическое отношение к католической церкви ни в коей мере не означает отрицания неотъемлемой роли *sacrum* в жизни человека.

Без сомнения, это проза, вырастающая из авангардного опыта, родственная творчеству таких авторов как Бруно Шульц, Витольд Гомбрович или Мирон Бялошевский, черпающая из плебейского языка, сводящая личные счеты с национальными мифами, с мартирологической тональностью. В поздних произведениях все громче звучит чувственность опытности, выражающаяся (как в «Бале вдов и вдовцов», за который Панковский в 2009 году был отмечен престижной Литературной премией Гдыни) в показе эротизма старости. Не сторонится Панковский и литературных провокаций. Именно такой провокацией был роман «Матуга идет». В главе «Въезд Этого» толпа эмигрантов в ожидании вождя, который должен их возглавить, кричит: «Спаси нас! Выведи, приведи! Сохрани нас! Верни нас на лоно, что как здоровье!». Нельзя не заметить, что это аллюзия на первые слова апострофы из «Пана Тадеуша» Мицкевича: «Отчизна милая, Литва! Ты как здоровье...»^[1]. Все произведение — будучи своеобразной пародией на эпос — это полная динамики, в том числе языковой, попытка деконструкции польских национальных мифов, разоблачения позерства увязшей в романтической традиции эмиграции, насмешки над стереотипами. При этом немаловажно, что Польша здесь именуется Картофляндией, что представляет собой не для всех прозрачную аллюзию на юношеское произведение Мицкевича под названием «Картофель».

Не подлежит сомнению, что в случае Панковского мы имеем дело со всё еще не дочитанным писателем, достойным нового «открытия» — после краткого периода популярности в

последние годы жизни этого автора, вокруг его книг в целом воцарилось молчание, не позволяющее найти для его наследия такое место в панораме современной польской литературы, которого оно заслуживает. Автор «Смуглой свободы», прекрасной прозы, сильно пропитанной поэзией, по-прежнему остается в пространстве национальной литературы фигурой «самобытной», а зачастую даже специфической.

1. Перевод С. Мар — Примеч. пер.

Вырванное из забвения

Несмотря на то, что после Второй мировой войны прошло уже более 70 лет, ее история по-прежнему полна белых пятен. А может быть, скорее, черных дыр, своего рода ядер тьмы, о которых не рассказывает официальный исторический нарратив, поддерживаемый политикой и национальными интересами. Это относится как к индивидуальным случаям, так и к сообществам. В разные исторические моменты группой, исключенной из официальной истории, были солдаты Армии Крайовой, евреи, до сих пор мало — по крайней мере, к востоку от Одры — говорится о «розовых треугольниках»^[1], и, кажется, только французы могут сказать, что описали историю подневольных сексуальных работниц. Определенно, не поляки. Хотя в польском околовоенном имажинарии имеется образ женщины с обритой за сексуальные контакты с гитлеровским оккупантом головой, а в прозе появляются сюжеты о военной проституции, все же об организованной системе сексуальных услуг и подневольных сексуальных работницах в сущности известно немного. Ситуация, однако, изменилась. Иоанна Островская ведет свои исследования более десяти лет, трудолюбиво и упорно разыскивая в архивах материалы, относящиеся к публичным домам, находившимся как в концентрационных лагерях, так и в крупных городах. В работе «Покрытое молчанием. Принудительный сексуальный труд во время Второй мировой войны» она показывает то, как была организована система, а также предоставляет слово ее жертвам — женщинам, принужденным к сексуальному труду. Это не репортаж. Хотя у Островской есть склонность к повествованию, и лишь научные рамки отделяют нас от захватывающего рассказа увлеченного репортера, всё же основой книги являются документы, обильно цитируемые автором — как из материалов, оставшихся после нацистов, так и из послевоенных судебных дел, героинями которых были сексуальные работницы.

Важно название, в котором автор раскрывает предпосылки своей работы и ее основные тезисы. «Покрытое молчанием», потому что отсутствие этой темы как в исторических исследованиях, так и в литературе о войне, свидетельствует о ее вытеснении и моральном осуждении, стигматизации жертв войны. «Сексуальный», потому что предметом работы были сексуальные услуги. «Труд», потому что в организованной

системе проституция становилась трудом, за который получали вознаграждение, еду, а иногда крышу над головой. Как на всякой работе, был распорядок, руководство и требования. «Принудительный», потому что ни одна из женщин, завербованных на эту «работу», не выбрала ее добровольно. И здесь мы должны задержаться, поскольку это входит в противоречие с тем фактом, что в лагерные бордели многие женщины обратились сами. Однако они сделали это в безвыходной ситуации.

Островская раскрывает механизмы функционирования системы, натравливавшей жертвы на других жертв. Рассказы, касающиеся борделей в концлагерях, шокируют, а уже сама информация о том, что посещение лагерного борделя было высшей наградой для узников лагеря, позволяет нам осознать чудовищность (и изощренность) мышления нацистов. Добавим еще невидимость борделей (например, освенцимского) в топографии и исследованиях этих мест и получим картину трудной темы, которую, однако, стоит поднимать, чтобы попытаться рассказать правду об истории.

Когда Анна попала в бордель в концлагере в Плашове, ей было 24 года. Она работала домработницей в немецкой семье, а также как зарегистрированная проститутка. В Плашов она попала не по собственной воле. «Поясняю, что в бордель в концентрационном лагере ни одна проститутка не хотела идти добровольно, потому что для проституток там были намного худшие условия, чем на свободе». В борделе работало 9 женщин, в большинстве своем узницы лагеря с таким же прошлым, как у Анны. «Бордель открывался в 5 часов вечера и был открыт до 10 часов вечера». Туда приходили украинцы, «черные»^[2], а также вспомогательная полиция (Sonderdienst). Специализация борделей для конкретных групп — один из основных мотивов книги Островской. «За половое сношение нам платили по 2 злотых, на которые мы ничего не могли купить. Еду мы получали точно такую же, как эти «черные украинцы». Ее не хватало, и мы постоянно были голодны». Анна рассказывает о насилии «клиентов» и подчеркивает, что эсэсовцы неоднократно спасали работавших в борделе женщин от «зверств пьяных “черных”». После войны Анна по-прежнему занималась проституцией, а ее свидетельство взято из документов Окружной комиссии по изучению гитлеровских преступлений в Кракове от 1948 года.

Написать историю группы, исключенной из основного дискурса — невероятно рискованная задача. Написать о женщинах, работавших в качестве проституток — такую задачу взяла на себя Островская, и после многих лет кропотливых поисков появилась книга, которая может стать основой для дальнейшей реабилитации забытых жертв нацизма в Польше. Получая Нобелевскую премию по литературе, Светлана Алексиевич сказала, что когда она идет по улице, и до нее доносятся слова, фразы, крики, она думает: «Сколько же романов бесследно исчезает в бездне времени!». Заслугой смелых исследовательниц является сохранение хотя бы нескольких таких историй, чтобы мы лучше понимали человека. В каждом его измерении.

Перевод Владимира Окуня

Joanna Ostrowska,

Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w okresie II wojny światowej.

Marginesy. Warszawa 2018.

-
1. Нашивку в виде розового треугольника носили гомосексуалисты в нацистских концлагерях — Примеч. пер.
 2. «Черными» (из-за цвета формы) в Польше во время Второй мировой войны называли служащих охранных подразделений вермахта, многие из которых были завербованы из числа советских военнопленных — Примеч. пер.

Культурная хроника

Ноябрь изобилует культурными мероприятиями, подготовленными в связи с сотой годовщиной обретения Польшей независимости. Одним из них был концерт «100 на 100. Музыкальные десятилетия свободы» в Большом театре – Национальной опере в Варшаве. На открытии с речью выступил вице-премьер и министр культуры Петр Глинский. Приветствуя собравшихся в театре — «святыне искусства», по его словам, — министр, в частности, сказал: «Здесь нет места для повседневности, для идейных споров и политической полемики. Это святыня, и у нас сегодня святой день. Мы встретились, чтобы вместе, торжественно, под музыку, созданную величайшими польскими композиторами, отпраздновать столетие восстановления польской независимости». В праздновании участвовали также маршал Сейма Марек Кухцинский, вице-министр культуры Ярослав Селлин и бывший шеф министерства национальной обороны Антоний Мацеревиц. Программа концерта включала произведения Генрика Миколая Гурецкого, Игнация Яна Падеревского, а также «Te Deum» Кшиштофа Пендерецкого, в котором композитор использовал фрагмент знаменитого религиозного гимна «Боже, что Польшу», конкурировавшего в 1918 году после обретения страной независимости с «Мазуркой Домбровского» за признание государственным гимном Польши.

Массовой публике 10 ноября, в канун национального праздника, был предложен бесплатный «Концерт для Независимой» на Национальном стадионе в Варшаве. Вживую концерт увидели и услышали около 40 тыс. зрителей, была также трансляция по Польскому телевидению и радио. На стадионе пели песни повстанцев, легионеров, звучала музыка довоенного польского кино, популярные песни 1960-х и самые свежие хиты польского рока. Среди исполнителей были, в частности, Марыля Родович, Станислава Целинская, Кристина Пронько, Мунек Стащик, Ян Петшак. На трибунах восседали главные государственные мужи: президент Анджей Дуда с супругой, премьер Матеуш Моравецкий, председатель «Права и справедливости» Ярослав Качинский, маршал Сената Станислав Карчевский, министр культуры и национального

наследия Петр Глинский. Концерт завершился общим пением «Мазурки Домбровского» и фейерверком.

Во время торжеств в Королевском замке в Варшаве президент Дуда наградил посмертно 25 выдающихся поляков «за приумножение славы и благополучия Республики Польша». Среди отмеченных наградой наряду, например, с Марией Склодовской-Кюри и первой польской олимпийской чемпионкой Халиной Конопацкой, были также политики — Роман Дмовский и Игнаций Дашинский; ряд деятелей культуры — писатель и педагог Януш Корчак, художник Войцех Коссак; и писатели — Зофья Коссак-Щуцкая, Корнель Макушинский, Стефан Жеромский и лауреат Нобелевской премии по литературе Владислав Реймонт.

12 ноября два телевизионных канала, TVP-1 и «Polsat», одновременно представили в прайм-тайм общедоступного сигнала полуторачасовой документальный фильм «Независимость» Кшиштофа Тальчевского. Картина посвящена событиям, связанным с провозглашением независимости Польши. В центре повествования — отцы независимости: Юзеф Пилсудский, Роман Дмовский, Игнаций Падеревский, Войцех Корфанты, Юзеф Халлер. Фильм ставит и пытается ответить на непростой вопрос: как получилось, что политики самых разных социальных и идейных убеждений осуществили мечту пяти поколений поляков о независимости? «Мы можем рассказать обо всем этом благодаря находке уникальных киноматериалов 1914–1923 годов», — говорят создатели фильма, использовавшие материалы зарубежных — французских, немецких, российских, американских, украинских — архивов, а также собрания польской Национальной фильмотеки — Аудиовизуального института и изобразительные материалы Национального цифрового архива. Старые киноплёнки были обновлены, колоризованы, огромную работу выполнила группа специалистов по ротоскопированию, то есть технике анимации путем фотоперекладки. Музыку к фильму написал Кшесимир Дембский. «Надо принять во внимание, что в те времена киносъёмка осуществлялась, прежде всего, на важных событиях, таких как свадьбы, похороны, коронации, — говорит режиссер фильма Кшиштоф Тальчевский. — Нам же удалось разыскать материалы, на которых запечатлена повседневная жизнь простого человека — в этом оригинальность и ценность нашего фильма».

По случаю годовщины путем голосования были выбраны лучшие польские книги за минувшие сто лет. По опросу Третьей программы Польского радио (когда-то любимой слушателями «Тройки») победил роман «Солярис» Станислава Лема, следующие позиции достались «Иному миру» Густава Герлинга-Грудзинского и «Фердидурке» Витольда Гомбровича. Высокие места, но вне пьедестала, заняли «Корчиные лавки» Бруно Шульца, «Господин Когито» Збигнева Херберта, «Канун весны» Стефана Жеромского, «Стихи» Кшиштофа Камиля Бачинского, «Танго» Славомира Мрожека, «Медальоны» Зофьи Налковской, а также «Ночи и дни» Марии Домбровской.

Пользователи портала Onet.pl на первое место поставили «Канун весны» Стефана Жеромского, на второе — роман Ежи Анджеевского «Пепел и алмаз», на третье — «Успеть до Господа Бога» Ханны Кралль.

Вручаемую всегда 11 ноября литературную премию им. Юзефа Мацкевича получил в нынешнем году Веслав Хеляк за книгу «Над Збручем» — эпическое повествование о трех поколениях польских помещиков на восточных окраинах страны (издательство «Arcana»). «Збруч — это символ мира польских восточных окраин, который меняется на глазах читателя. Роман о нескольких поколениях помещичьей семьи, показанных с почтительным уважением», — сказал председатель жюри проф. Мацей Урбановский, добавив, что автор описывает мир польского поместья с большой любовью, видит в нем оплот цивилизации и порядка, разрушенный стихией большевистской революции. Премия была учреждена в память о личности и творчестве Юзефа Мацкевича, писателя и политического деятеля с ярко выраженными антикоммунистическими убеждениями. Премия присуждается польским авторам, которые уделяют особое внимание популяризации отечественной культуры, истории и традиции. В состав капитула премии входят правые публицисты и литературоведы, в том числе, например, проф. Кшиштоф Дыбцяк, Станислав Михалькевич, Рафал Земкевич.

Александра Гнатюк, известная также как Оля Гнатюк, стала в нынешнем году лауреатом премии им. Ксаверия, Мечислава и Эразма Прушинских, присуждаемой с 2006 года польским Пен-клубом за литературный репортаж и литературную и

гуманитарную эссеистику. Премия была вручена в конференц-зале Дома литературы на Краковском предместье в Варшаве. Ведущим торжества был Адам Поморский, председатель польского Пен-клуба, а с речами в честь лауреата выступили Богумила Бердыховская, Малгожата Шейнерт и Иренеуш Кшеминский.

Оля Гнатюк — ученый-украиновед, переводчик и популяризатор украинской литературы в Польше, университетский преподаватель. Она является автором многочисленных публикаций, среди которых, в частности, книги «Прощание с империей. Украинские дискуссии об идентичности», а также «Смелость и страх» о судьбах львовской интеллигенции во время Второй мировой войны. «„Смелость и страх“, — писала Дарья Чарнецкая в рецензии на историческом портале histmag.org, — это не только рассказ о значительных событиях. Да, мы узнаем об убийстве львовских профессоров, аресте и ссылке Эугениуша Бодо, Львовском гетто и лагере в Яновце, об отправке львовян в сибирские лагеря. Но прежде всего это исследование отношений между польской и украинской интеллигенцией в период переменчивой политической конъюнктуры. Иногда в лучшем положении оказываются украинцы, иногда — поляки. Нет никакой устойчивой модели. Но то, что в своей работе Гнатюк ставит на первое место — это личность человека и его индивидуальный опыт. Пусть это и звучит банально. Ведь речь в книге идет не только о широко известных людях, но и о совершенно неизвестных, таких, к примеру, как члены семьи автора».

Официальная премьера анимационного фильма о трехмесячной поездке Рышарда Капуцинского в охваченную войной и хаосом Анголу «Еще день жизни» прошла в мае в рамках Каннского фестиваля. А 2 ноября этот созданный испанско-польским режиссерским дуэтом Рауля де ла Фуэнте и Дамиана Ненова фильм вышел на польские экраны. В истории нашего кино это первая экранизация прозы великого репортера и писателя. 80% экранного времени занимает стилизованная под комикс анимация, 20% — документальные кадры. В польской языковой версии свой голос «одолжил» Капуцинскому популярный актер Марцин Дороцинский.

В соответствии с первоисточником, зритель начинает путешествие с Капуцинским в столицу Анголы Луанду в 1975 году. Продолжается деколонизация после португальской «революции гвоздик», в Анголе вспыхивает кровавая гражданская война... «Рышард Капуцинский полагал, что

беспристрастная журналистика невозможна, — пишет Януш Врублевский в «Политике». — Особенно военный репортаж, по его мнению, обречен на определенную дозу субъективности. Когда он в 70-е годы писал о вооруженном конфликте в Анголе, то стоял на стороне людей, боровшихся за справедливость и высокие идеалы, и стремился их оправдать. В определенный момент, как журналист, он задавался вопросом: имеет ли он право, обладая секретной информацией, которая могла бы изменить ход истории, использовать эту информацию, чтобы спасти находящуюся в опасности революцию? Этому вопросу он посвятил «Еще день жизни», один из своих наиболее личных текстов, который сейчас дождался экранизации в поразительной форме ностальгического, беллетризованного документального мультфильма, ассоциирующегося с «Вальсом с Баширом». Получилась грустная, заставляющая размышлять картина о драме освобождения Африки от колониализма. Африки, до сих пор не реализовавшей свою мечту об утверждении лучшего социального строя».

Фильм Войцеха Смажовского «Духовенство» устанавливает очередные рекорды. В течение семи недель после премьеры его посмотрело более пяти миллионов зрителей. Картина, в которой представлены все грехи церковных институтов, такие как педофилия, коррупция, нарушение celibата, была встречена резкой критикой со стороны правых и консервативных кругов, а в ряде городов показ картины запретили. Буря вокруг «Духовенства» привела к тому, что фильм стал хитом, которого в польском кино давно не было. Картина стала в Польше абсолютным лидером проката в XXI веке, опередив прежнего чемпиона — «Quo Vadis» Ежи Кавалеровича, и оказалась третьим по популярности фильмом в Польше с 1989 года. Впереди только экранизации произведений школьной программы «Огнем и мечом» Ежи Хоффмана 1999 года (более 7 миллионов зрителей) и «Пан Тадеуш» Анджея Вайды того же 1999 года (более 6 миллионов). По числу зрителей «Духовенство» опередило в Польше также зарубежные хиты, такие как «Аватар», «Титаник» или «Страсти Христовы». Фильм произвел фурор также за границей — в Великобритании и Ирландии.

В Познани планируют поставить памятник Бождану Смоленю, сатирику и актеру, одному из создателей кабаре «Ты», который в годы коммунизма развлекал не слишком радостный народ. Связанный со столицей Великопольши сатирик умер в декабре

2016 года. Легендой польского кабаре стала программа «Магазин со двора», которую Смолень вместе с Зеноном Лясковиком показал на фестивале в Ополе, буквально накануне начала августовской забастовки в Гданьске. Программа высмеивала «народную власть», критиковала экономическое положение в ПНР, потешалась над телевидением, отношениями в обществе. Памятник Смоленю предполагают установить в центре Познани через два года. Как написано в одном из комментариев, «во времена, когда поспешная установка памятников, скорее, разобщает поляков, этот памятник должен объединить народ».

Прощания

28 октября в Варшаве умер живописец и график Эдвард Двурник, выдающаяся фигура современного польского искусства. Благодаря своей яркой индивидуальности, необычайному таланту и трудолюбию, художник завоевал международное признание. Им создано более пяти тысяч картин и десяти тысяч рисунков. Живопись, графику и скульптуру изучал в Академии изящных искусств в Варшаве. Своим мэтром называл Никифора — выдающегося художника-самоучку.

В 60-е годы Двурник начал цикл картин маслом «Путешествия автостопом», который продолжал до последних лет жизни. Эти городские пейзажи «с высоты птичьего полета», в которые включены бытовые сценки и множество мелких фигур. Одной из любимых тем художника была Варшава. Ему принадлежат и более десятка других циклов — например, «Спортсмены», представляющие карикатурно или в стилистике комиксов героев повседневности ПНР. Создал также две серии работ, посвященные трагическим судьбам людей, оказавшихся во власти Молоха истории, — в «Дороге на Восток» Двурник воздал дань жертвам сталинизма, а в серии «С декабря по июнь» — жертвам военного положения в Польше. Художник прожил 75 лет.

1 ноября в Гданьске умерла выдающаяся актриса театра «Выбжеже» Халина Слоевская, в 80-е годы активный деятель «Солидарности». Выпускница Государственной высшей театральной школы в Лодзи, Слоевская играла на многих польских сценах, но главными в ее карьере оказались годы работы в гданьском театре «Выбжеже». В августе 1980-го она

возглавила группу гданьских артистов, выступивших во время забастовки на площади возле знаменитой проходной № 2 Гданьской судовой верфи. В 1984 году с мужем Марьяном Колодзеем, известным сценографом, подготовила спектакль «Gloria Victis», посвященный защитникам Вестерплатте в сентябре 1939 года. Халине Слоевской было 85 лет.

1 ноября умер выдающийся сценограф и график Мариуш Хведчук. Выпускник Краковской академии изящных искусств и Лодзинской высшей театральной школы, Хведчук был художником многих спектаклей Адама Ханушкевича в «Театре народо́вом» — в том числе таких, как «Кордиан» (со знаменитой стремянкой, изображавшей Монблан), «Мицкевич — молодость», «Платонов», «Пасторальная комедия», «Домашний песенник». Создавал также плакаты. Мариушу Хведчуку было 85 лет.

13 ноября в Гданьске в возрасте 93 лет умерла Регина Бельская, звезда польской эстрады 50–60-х, всю жизнь связанная с Трехградьем. Ее считали одной из лучших певиц ПНР, называли даже польской Имой Сумак. На счету певицы много хитов, таких, например, как «Пять парней с „Альбатроса“», «Живется лишь раз». На вершине карьеры выступала в Бельгии, Франции, Советском Союзе.

19 ноября в возрасте 89 лет умер Витольд Собоцинский, один из крупнейших польских кинооператоров, подлинный художник кино, на счету которого множество шедевров. Собоцинский сотрудничал с такими выдающимися режиссерами, как Ежи Сколимовский, Анджей Вайда, Войцех Хас, Роман Поланский, Петр Шулькин, Кшиштоф Занусси, Феликс Фальк, Анджей Жулавский. Ему принадлежат, в частности, незабываемые операторские работы в фильмах «Все на продажу», «Свадьба» и «Земля обетованная» Вайды, «Семейная жизнь» Занусси, «Санаторий под клепсидрой» Хаса, «Неистовый» Поланского. Он был также одним из создателей польского джаза, расцвет которого наступил после «сталинской ночи». Во время учебы в Лодзинской киношколе выступал как музыкант в джазовом ансамбле «Меломаны», основанном Ежи Матушкевичем, — играл на ударных и тромбоне. Был трижды награжден за совокупность творчества на фестивале операторского искусства «Camerimage», получил премию Американского

объединения кинооператоров, «Орлов» Польской киноакадемии за свершения в искусстве, «Платиновых львов» кинофестиваля в Гдыне, премию Союза польских кинематографистов за выдающиеся художественные достижения.

Город Б.

К числу важных для меня книг принадлежит «Дневник ротозея» Збигнева Рашевского. Я люблю к нему возвращаться, всякий раз обнаруживая что-то новое. Кажется, будто я разговариваю с близким человеком, который значимым образом, хоть и не всегда намеренно, повлиял на мою жизнь. Эта книга позволяет мне странствовать, не трогаясь с места, переносит в Быдгощ, в город, извлеченный из памяти. В «Дневнике...» нет цветных фотографий, рисунков, точных карт — есть плотный текст, требующий сосредоточенности и неспешного чтения.

Я никогда не бывал в Быдгоще. Вслед за Рашевским я предпочитаю его давний облик. Он кажется мне более подлинным и более интересным, нежели сегодняшние виды. Быдгощ стал для меня городом Рашевского и до сих пор существует в моем сознании благодаря его описаниям. Я следую за ним по довоенным улицам, среди людей, отличающихся от наших современников, читаю старые газеты. Из тщательно реконструированных частичек стараюсь сложить очертания города. Представить себе, как он выглядел. Увидеть его в праздники и в будни, узнать закоулки и шумные площади, места увеселений и сосредоточенности.

Триста текстов, расположенных в алфавитном порядке, составляют образ Быдгоща 1930–45 гг. Каждый из фрагментов я читаю как набросок к роману. Трудно представить себе бóльшую скрупулезность, заботу о каждой мелочи. Книга, порожденная любовью к городу, является для меня повествованием о самом Рашевском, моем учителе, о его детстве, живописном, хоть и не всегда счастливом. Она включает в себе то, что в Рашевском восхищало меня более всего: многообразие интересов, любознательность, чувство юмора. И быть может, самое главное — в ней есть вера в то, что мир поддается изображению, что прошлое можно описать — с пользой для себя и других.

В том, как Рашевский работал, было что-то от настойчивости детектива. Я помню наши разговоры о Сименоне. Именно благодаря Рашевскому я начал читать истории комиссара Мегрэ. Я выискивал в них описания Парижа, яркие характеры. Вслед за Рашевским пытался реконструировать биографию Мегрэ, познакомиться с его привычками. И может, поэтому

профессор сам постепенно превращался для меня в Мегрэ, решающего трудные театральные ребусы. Я снова, как при чтении романов Сименона, оказался увлечен главным героем, его методами следствия, виртуозностью, умением слушать других, способами, при помощи которых он подтверждал или отвергал свои гипотезы. В спорных ситуациях Рашевский, подобно Мегрэ, ставил знак вопроса. И кружил вокруг, пока не появлялась возможность стереть его без риска ошибиться. Порой он предпочитал промолчать, нежели говорить вещи непроверенные. Предпочитал прервать разговор, сменить тему. Звучавшее затем слово «ergo», словно удар гонга, знаменовало значимость момента, и вскоре все разъяснялось. Окружающим Рашевский позволял безнаказанно заблуждаться, от себя же требовал продуманных суждений, которые чаще всего являлись результатом кропотливого труда. Однако на заключительном этапе он придавал им легкость и масштаб, освобождал от тени усилий, каких требовал долгий исследовательский процесс. Мир во всем его разнообразии Рашевский принимал как вызов. Он с одинаковой страстью говорил о театре, музыке и истории военного дела. Знал, что эти далекие на первый взгляд области соприкасаются друг с другом, что о них имеет смысл размышлять в комплексе. Профессор верил в силу сотрудничества и умения задавать вопросы. По сей день для меня в этих словах заключена некая магия. Благодаря Рашевскому я научился их ценить. Но исключительность профессора в том, что он делал следующий шаг. Из обнаруженных фрагментов выстраивал целое.

Он старался докопаться до истины, найти формулу, отражающую суть. Его привлекали теории, определения и детали, отдельные события, для других малоинтересные. Его эссе о театральных афишах я считаю образцом любознательности. Я не предполагал, что можно так много вычитать из обычного уведомления.

Не знаю, ставил ли его когда-нибудь мир в тупик. Не раз причиной внезапной смены настроения мог оказаться я сам. Думаю, что я постоянно разочаровывал Рашевского, хотя, к счастью, он не возлагал на меня слишком больших надежд. Мои ошибки и неудачи принимал с пониманием и лишь добродушно улыбался. Эту улыбку я хорошо помню, она была его фирменным знаком. Таким образом он делился своей добротой, позволял забыть о проблемах и недоразумениях, брал их в скобки и указывал, что это — не самое главное. Главное — в нас самих, в наших характерах и страстях. Думаю, что люди по-настоящему его интересовали. Он любил наблюдать мир. Позиция наблюдателя, ротозея, как определял ее сам

Рашевский, была ему наиболее близка. «Слово „ротозей”, — пишет он, — я использую не ради стилизации, скорее, это попытка определить собственную позицию перед лицом процессов, которые потрясли основы мира». Дистанция позволяла сохранить независимость суждений, верность действительности. Но Рашевский был ротозеем необычным. Увиденное он запоминал с невероятной точностью, а позже годами сравнивал впечатления со свидетельствами других людей. Искал подтверждения своим наблюдениям в источниках. Делал это так, словно интересующий его предмет постоянно находился в поле зрения.

Рашевский рассматривал вещи мелкие и великие. Искусно менял ракурсы. В «Дневнике ротозея» он пишет о повседневной жизни города, об истории, накладывающей на его облик свой отпечаток, об автобусах, речных каналах, рыночной площади, книгах и аптеках, о Красной армии, Вермахте, сектах и масонстве. Это разнообразие отражает его неподдельный интерес к миру. Не знаю, сумел ли бы кто-нибудь составить список близких профессору тем, начертить карту его интересов. С разными людьми он беседовал на разные темы. Не любил лишь натуры прохладные, людей, лишенных страсти. У него была собственная теория островов, мест, свободных от шума, где можно спокойно развивать свои интересы. «В XX веке, — писал Рашевский, — целые общества подвергаются приступам безумия и в таких случаях человек способен спасти душу, отделяясь, пока это возможно, от толпы — вместе с другими людьми, сохраняющими здравый рассудок». Его острова многократно меняли свое местоположение, оказываясь то дальше, то ближе к материку. Но некоторые сохранялись неизменными до конца жизни, как, например, редакция журнала «Паментник театральны».

Из моих бесед с Рашевским я помню главным образом те, что касались литературы и музыки. Собственно, это были индивидуальные лекции о Стемповском, Терлецком, Моцарте и Бахе, перемежаемые замечаниями о том, чего следует избегать, когда пишешь, каких ошибок остерегаться. Дополнением бесед служили для меня страницы «Рукописного журнала» и письма к Малгожате Мусерович. Повествование о концерте Константы Кульки я считаю одним из самых великолепных эссе о музыке, как и парижский рассказ о симфонии Моцарта, исполненной под горячительные напитки прямо с листа.

В книге о Быдгоще это многообразие интересов, возможно, наиболее заметно. Не все фрагменты производят на меня одинаково сильное впечатление, но я не могу себе представить,

чтобы какой-либо из них там отсутствовал. Быдгощ Рашевского составляют два города: довоенный и времен немецкой оккупации. Вероятно, поэтому в книге так много текстов военного характера, вообще об армии, вооружении, великих битвах профессор готов был рассуждать всегда. Он знал о них все. Однажды он с очень довольным видом показал мне с трудом добытые фотографии новейшего американского танка. Он говорил о нем с нежностью и знанием дела. Так, словно это безобидный экипаж XIX века. Думаю, я много потерял в его глазах, не выказав соответствующего восторга.

Среди любимых книг профессора — довоенный устав пехоты. Для Рашевского он служил образцом ясности изложения и чистоты стиля. «"Карбин 98а — огнестрельное оружие, магазинная винтовка, пятизарядная, с запирающимся стволом и перекидным целиком". Эта фраза, — замечает Рашевский, — вне всяких сомнений принадлежит к числу наиболее блестящих, какие когда-либо были написаны на нашем языке. Пособие командира отряда отличалось подобными достоинствами, кроме того восхищало меня неожиданной методичностью конструкции. Целое разделено на части, части — на главы, главы — на параграфы, а каждый параграф дополнительно содержит перечисление предметов и понятий, отделенных тире — так что содержание списка сразу бросается в глаза. Я до сих пор пользуюсь этим принципом в собственной профессиональной деятельности, хотя занимаюсь совершенно другими вещами». Я вспоминаю это, читая книги Рашевского о театре.

Однако другие тексты производят на меня более сильное впечатление. Охотнее всего я возвращаюсь к записям более частного характера, описаниям работы на фабрике шоколада «Лукулл», военных походах Рашевского, истории его ареста. Польско-немецкие отношения — одна из важнейших страниц «Дневника ротозея». Быдгощ Рашевского был городом двух конфликтующих народов, во время войны городом с двумя разными порядками жизни, городом разделенным, состоящим из несоприкасающихся друг с другом частей. Немецкие организации, обычаи, армию и гражданское население Рашевский описывает особенно тщательно. Он основывается на документах и собственном опыте. Не избегает вопросов, возбуждающих споры и эмоции, четко отделяет то, что знает наверняка, от того, что требует уточнения. Немцы — часть его Быдгоща, это был отдельный мир. В «Дневнике ротозея» Рашевский его реконструирует. Кроме того, он пытается проникнуть в суть охватившего народы безумства, представить

историю триумфа и поражения с перспективы обычного человека, поляка и немца.

Начало Второй мировой войны — конец прежнего Быдгоща, цезура в истории города. «Даже в тех случаях, когда что-то в Б. хочет казаться продолжением старого, на поверку это оказывается безвозвратно новым». Сегодняшний Быдгощ уже не является городом Рашевского. И может, поэтому мне легче представить его на варшавской улице Длуга, неспешным шагом направляющегося в Театральную школу. Там я видел его чаще всего, каждую неделю слушал его лекции. Но самые важные разговоры проходили вне школы, в небольшой комнате Рашевского. Это были особенные минуты, хотя я не всегда умел их ценить. Сегодня я жалею, что не записывал слова профессора. К счастью, остались книги. В них я ищу его отражение, его голос и улыбку, фразы обычные и мудрые, вроде: «Вижу, что мы по-прежнему не слишком друг друга понимаем. Ничего. Попробуем снова».

Перевод Ирины Адельгейм

«Куры» и стихия пародии

90-е годы XX века стали для польской музыки временем динамичного развития музыкального рынка и его последовательной коммерциализации. Это время, когда творчество таких суперпопулярных групп 70-х и 80-х годов, как «Будка суфлера», «Леди панк», «Perfect» и «Маанам», стало приносить прибыль. Огромный успех благодаря своему дебютному альбому «Fire» снискала в 1993 году группа «Хей», исполнявшая музыку, вдохновленную стилем гранж (чьи золотые денечки к тому времени уже были позади). Но милее всего сердцам большинства среднестатистических поляков оказалась так называемая «тротуарная» музыка (продавали ее в основном с импровизированных лотков, установленных прямо на тротуарах – отсюда и название) в стиле диско-поло. Телепрограмма «Диско-релакс» на канале «Польсат», передававшаяся по утрам каждое воскресенье, сделала звездой диско-поло певицу Шаззу с довольно банальными текстами песен вроде «Все, что хочешь, возьми. / Бери, не вопрос – / даже дождь, черт возьми, / даже ветер с волос». Огромной популярностью пользовались имевшие сексуальный подтекст песни группы «Тор Оне» («Соседка» и «Потеряла невинность, а что»). Творчество серьезных групп оказалось в андеграунде, а на смену идеологической цензуре пришла цензура рыночная. Если в 80-е годы трудно было издать альбом, содержащий критику тогдашней политической системы, то в 90-е годы никаких проблем с этим не было. В то же время группам-дебютантам, игравшим более оригинальную музыку, приходилось пробивать стену лбом, чтобы достучаться до слушателей. Несмотря на большой художественный потенциал, такие группы, как «Kinsky» и «Kobong» не могли обрести широкую публику и в результате распадались. В 90-е годы также пышным цветом расцвело пиратство (его тогдашние масштабы несопоставимы даже с эпохой интернета), которое не позволяло достойно жить группам, игравшим серьезную, утонченную музыку.

Рышард «Тымон» Тыманский – одна из звезд польской музыки в стиле «ясс», соединившей джазовые музыкальные традиции с роком. Он стал также популярен как мастер перформанса благодаря своей деятельности в группе «Тотарт». Группа «Куры», появившаяся в 1993 году, была очередным этапом его сценической активности. Дебютировав в 1984 году в группе «Sni

Sredsvom Za Uklanianie» (это название, позаимствованное из хорватского языка, придумали для того, чтобы его невозможно было скандировать) певец и композитор Тыманский оказался в группе «Милосць». Ранее вместе с Павлом «Коньо» Коннаком, Артуром «Кудлатым» Коздровским и Збигневом Сайногем он состоял в группе «Тотарт». Смена политического строя и революция в масс-медиа оказались благодатной почвой для такой деятельности. Среди групп с сатирической жилкой пальма первенства принадлежала группам «Белье» и «Биг Титс». Их творчество, а также достижения групп «Казик вживую» и «Культ» плюс сольные работы Казика Сташевского стали важнейшими событиями десятилетия, отраженными в кривом зеркале.

В 1995 году вышел первый альбом группы «Куры», в записи которого принимали участие Тымон Тыманский, Петр Павляк, жена Тымона – Анита Ласоцкая и барабанщик Яцек Ольтер, игравший также в «Милосци». Альбом «Kablox-Niesłyna Histaria» радикально отличался от всего, что тогда появлялось на музыкальном рынке, в нем не было ни грамма коммерческого потенциала, зато он свидетельствовал о большом творческом потенциале группы. Однако к более широкому кругу слушателей группе «Куры» удалось пробиться только в 1998 году. Вместе со своим приятелем из Тригорода – Олафом Деригласовом, лидером панк-группы «Дети капитана Клосса» – Тыманский решил пойти дальше. Сначала как дуэт «Счетоводы», а затем уже под вывеской «Куры» вместе со знакомыми музыкантами они решили записать лучший в мире альбом.

Альбом был задуман как сборник записей неизвестных, на ходу придуманных групп. Их названия указаны на обложке («The Пидорз», «Папамобиль», «Счетоводы», «Черная волга», «Фазефака», «Триглав», «Ганимедз Бой Бэнд», «Гранястополус», а также «Полковник Калита» и «Благодарность»), но все это все те же «Куры», просто в изрядно расширенном составе. И хотя название альбома «P.o.l.o.v.i.r.u.s» однозначно отсылает к упомянутому диско-поло, содержание альбома очень далеко от примитивного творчества «тротуарных» групп. Эклектичный характер альбома с фри-джазовыми фрагментами и роковым звучанием были бы предвестием очень серьезного высокого искусства, если бы не использование этих утонченных форм для хулиганской издевки над всем, что происходило тогда в популярной музыке. С момента выхода альбома «P.o.l.o.v.i.r.u.s» прошло двадцать лет. Однако и сегодня альбом не теряет своей актуальности. Одна из причин этого – укрепление позиций диско-поло на музыкальном рынке благодаря появлению телевизионного канала «Polo TV». Еще одна – деградация музыкального

образования в общеобразовательных школах. А это пластинка, уже ставшая культовой, знакомит слушателя со множеством музыкальных жанров и мод.

Нужен летний хит на каникулы? Пожалуйста – песня «У меня воняет изо рта». А рядом – «Сатана», пастиш христианской музыки, автоироническое высокое искусство – «Мой джаз», антирежимный протестный шлягер в стиле Боба Марли – «Без яиц», политически ангажированное искусство – «Идеалы августа», произведение, выражающее экзистенциальные противоречия, идущие рука об руку с понижением температуры до минус десяти, порывами ветра и падающими с деревьев листьями – «Осенний депресняк», техно – «Не переживай, Януш».

По мнению «Кур», успех борьбы с Вавилоном заключается в том, чтобы лишиться яиц, поскольку «яйца мешают женщине, яйца оскорбляют мужчину, / пророки их отрезали, заливая раны горячим маслом. / В Вавилоне измена, тут нужно иметь яйца, / а яйца разжигают страсти и провоцируют войны. / Ай-ай-ай, скажи яйцам „прощай“, / ой-ой-ой, зачем мне хой».

Этот гимн в стиле регги, представляющий из себя весьма искусную пародию на песни протеста, западает в память и эмоционально вовлекает слушателя.

Идеалам августа, неоднократно замаранным политиками всех мастей, достается и от «Кур»: «не забудем мы о саблях и лошадках, / об уланах, эполетах, шоколадках, / о Батории в седле и о бронзовом белье, / и о птицах-небылицах матери своей / не забудем мы погибшую кунцу / не забудем мы о потрохах печальных / не забудь, что ты поляк – кричи об этом / будь патриотом и отличный делай мед». И припев: «мамка, мамка, мамка / чти идеалы августа / мамка, тетка, бабка, Польша / Солидарность, Солигадость, Солимерзость».

Когда наступило лето, «Куры» предложили, чтобы каждая радиостанция как минимум несколько раз в день в прайм-тайм ставила их хит с мелодией в стиле диско-поло под названием «У меня воняет изо рта»: «Лето, лето, дискотек огни, вонь бензина, оводы-слепни, / лето, лето, острые клыки, мы в эфире, словно мотыльки. / Лето, лето, вши едят шашлык, пот и слезы закипают вмиг, / лето, лето, завывают псы, притупилось жало у осы».

Следующие два альбома «Концерт в „Форели“» и «Сто лет андеграунда», очередные музыкальные эфемериды, не оставили такого следа в истории, как их предшественник. 6 января 2001 года Яцек Ольтер покончил жизнь самоубийством, и с его смертью группа «Куры» прекратила свое существование. Универсальная пародия, которой является альбом «P.o.l.o.v.i.r.u.s», носит многомерный характер. Во-первых, она иллюстрирует особенности различных музыкальных жанров,

во-вторых, ставит под вопрос ценность искусства как такового, в-третьих, выражает сомнение в литературности текстов песен. Благодаря этим трем уровням пародии, с которыми имеют дело слушатели «Кур», творчество «Кур», несмотря на прошедшие годы, остается актуальным и универсальным. Музыканты задают философские вопросы о смысле жизни, сопровождая их простецкими мелодиями, пронизанными изысканными джазовыми вкраплениями. В активе создателей альбома «P.o.l.o.v.i.r.u.s» много важных пластинок и серьезных проектов. Перед записью альбома «P.o.l.o.v.i.r.u.s» Тыманский совершил концертный тур с группой «Милосць», в котором с группой играл Лестер Боуи – звезда джазовой музыки, член легендарного коллектива «Art. Ensemble of Chicago». «Куры» были коллективом, записывавшим удивительные альбомы в прямом значении этого слова, альбомы, над которыми не властно действие времени и для которых тесны узкие рамки жанра и интерпретационного контекста.

Перевод Игоря Белова

Записки ротозея

(фрагменты)

Зимние Воды. 1945 год, предместье Б. Сразу после того, как город заняли русские, там устроили концентрационный лагерь для немцев. Немцами в понимании русских являлись все граждане Рейха. На самом деле среди тех, кто оказался схвачен и помещен в этот лагерь, было много поляков, по разным причинам отнесенных немецкими властями к той или иной «группе». Аресты проводило НКВД, порой вместе с только что созданной «народной властью». Я никогда не был в этом лагере и не видел его собственными глазами. Слышал только, что там творились жуткие вещи.

«Народная власть», насколько мне известно, не разделяла взгляды НКВД относительно уголовной ответственности и, в сущности, не трогала немецких граждан III группы, преследуя лишь фольксдойче (II группа) и рейхсдойче (I группа). Этих — если им не удавалось бежать — отправляли в лагерь, откуда можно было выйти после судебной «реабилитации». Однако в ожидании ее узнику приходилось терпеть издевательства охранников. Многие заключенные были безнаказанно убиты охранниками — таким образом те мстили за зверства, совершавшиеся на протяжении нескольких лет гитлеровцами. Явление само по себе отвратительное, однако еще более омерзительным делает его то, что жертвами палачей оказывались люди ни в чем не повинные, оставшиеся в городе потому, что были, в сущности, поляками, более или менее произвольно причисленными к какой-то «группе», или немцами, которые не чувствовали за собой никакой вины и рассчитывали на великодушие поляков (почему и не бежали из города). Следует решительно подчеркнуть, что в истязании и расправе над узниками, а также насилии над женщинами поляки не уступали русским. Особой жестокостью, говорят, отличался один сторож из нашей гимназии. Из соображений лояльности должен, однако, заметить, что об этих удручающих фактах мало кто знал. Да у людей и не было возможности ими заинтересоваться, поскольку они, во-первых, страдали от насилия со стороны русской армии, НКВД и ГБ, во-вторых, были заняты проблемой пропитания и дров.

Позже «народная власть» засекретила историю этого лагеря, в том числе потому, что с его существованием связано одно из самых позорных преступлений, совершенных по отношению к местным офицерам Армии Крайовой. Когда в лесах Боры тухольске вспыхнуло польское партизанское движение, там возник образцовый отряд, находившийся в подчинении коменданта округа Поморье. Этим отрядом командовал офицер огромного мужества, капитан Алоизий Брусский («Граб»). В начале 1945 года капитан Брусский прибыл в Б. и сам предстал перед новой властью. В награду та назначила его комендантом лагеря Зимние Воды. Поначалу Брусский пытался навести там какой-то порядок. Однако вскоре убедился, что это ему не под силу, поскольку каждый вечер банды русских солдат попросту врываются в лагерь и насиловали находившихся там женщин, не обращая внимания ни на просьбы, ни на угрозы командования. Тщетны оказались все вмешательства вышестоящего начальства. Подробности на тему, как назревал этот конфликт, мне неизвестны. Насколько я понимаю, Брусский просто бежал из Зимних Вод, не в силах вынести того, что несет часть ответственности за происходящее там, и был схвачен. Во всяком случае, арестовали его дважды. Первый раз — в феврале 1945 года (тогда он был освобожден). Затем 7 VI 1945, на этот раз он был приговорен к 10 годам заключения. После апелляции Военный суд в Познани приговорил его к смертной казни. Президент Берут не воспользовался правом помилования. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме Вронки 17 IX 1946. Католическая церковь могла бы заинтересоваться личностью этого мученика.

Русские. Они не раз появлялись в прошлом в роли солдат: во время Северной войны, в 1814 году. После 1920 года в городе образовалась большая русская колония. Это были, конечно, «белые», бежавшие с родины во время революции, привлеченные тем, что здесь, в городе, который массово покидали немцы, легко было найти службу и жилье. В нашей небольшой, элитарной школе училось несколько девочек, имевших именно такое происхождение. В моем классе за первой партой сидела Нина Торлопова, брюнетка исключительной красоты и прилежания. В классе постарше училась ее старшая сестра Тамара. Обе православные, их отец организовал в нашем городе церковный хор. У нас ведь, разумеется, была церковь, и не одна. Была еще Таня Аристархова, чуть старше меня, спокойная блондинка, с которой мы некоторое время вместе ходили по утрам в школу, потому что жили в одном районе. Никакой дискриминации

этих девочек или их семей не было и в помине. У Тамары, насколько я помню, были прекрасные отношения с учительницами, а отец девочек входил в родительский комитет, что никого не удивляло и никому не претило (разумеется, он бегло говорил по-польски, так же, как и его дочери). Перед Ниной все заискивали, даже учителя, она вела себя высокомерно.

Никто никогда не воспринимал этих людей как недавних захватчиков. Лишь позже я понял, что им, тем не менее, тоже приходилось тяжело, прежде всего на уроках истории. Ведь никто ради них Россию на этих уроках не жалел. Вероятно, никто просто не помнил в такие моменты, что Нина — русская. А ее наверняка воспитывали дома в духе русского патриотизма. Она выступала в детском балете, который организовал Кружок русских женщин. Дети танцевали казачок на четыре пары. Когда город заняли немцы, местные русские — будучи представителями народа-союзника — очень выиграли: они имели те же права, что и немецкое население, тогда как мы, поляки, были отнесены к категории недочеловеков (Untermenschen). Такая ситуация сохранялась до начала немецко-русской войны в 1941 году. Эти люди, прежде имевшие привилегии как русские, сохранили их и после 1941 года — как «белые». Их никто не выгонял из их квартир. На дверях висели большие таблички с надписью: «Hier wohnt eine russische Familie» («Здесь живет русская семья»). Это успешно защищало от облав и обысков. И продуктовые карточки у них были такие же, как у немцев.

Мне запомнилась одна сцена на улице Гданьской — до конца своих дней ее не забуду. Я возвращался с фабрики, грязный, потный, усталый, и вдруг увидел перед собой группу молодых элегантных немецких офицеров, а среди них Нину, в расстегнутой роскошной шубе, она весело смеялась, запрокидывая голову. Она была еще красивее, в самом расцвете женственности, и хотя притворилась, что меня не видит, искоса бросила полный ненависти взгляд. Думаю, дело было не только в презрении к проигравшему. Нина мстила за унижение, о природе которого я тогда лишь начинал догадываться.

Однако не все русские так к нам относились. Как-то приятель отвел меня к одной русской женщине на улицу Снядецких, представив ее как превосходную учительницу английского языка. Немолодая дама со строгой прической и изысканными манерами, очень суровая, проэкзаменовала меня и согласилась давать уроки два раза в неделю. Она была очень требовательна.

Прозаические отрывки приходилось заучивать на память и декламировать целыми страницами. Потом она спрашивала грамматику, после грамматики мы упражнялись в разговорной речи. Вне уроков она говорила со мной по-польски (очень бегло). Немцев она ненавидела так же, как большевиков. Она была католичка, истово верила в возвращение Бурбонов на французский трон, что, по ее мнению, должно было дать начало новой эре в истории человечества. Со временем она меня полюбила. Брала для меня книги из Городской библиотеки (будучи поляком, я не имел на это права). Договорилась с друзьями о том, чтобы я в определенные часы мог играть на рояле (с тех пор, как нас выселили, я остался без инструмента). Эти ее друзья относились ко мне приязненно и разговаривали со мной по-польски.

В общем и целом о «белых» русских у меня остались добрые воспоминания, в том числе со времен войны — в отличие от большевиков. Первая встреча с этими русскими произошла, когда на фабрику привели военнопленных. Поляки сбежались, стали их угощать, пытались завязать с ними разговор — доброжелательный, как с союзниками. Те принимали все эти жесты как нечто само собой разумеющееся. Через некоторое время даже сооблаговостили с нами поговорить. Одному немцы дали польскую армейскую куртку, и он спросил, что это за птица на пуговицах.

— Орел, — ответили поляки.

— Ха-ха-ха, — иронически засмеялся русский. — А я думал, курица.

Перевод Ирины Адельгейм

Литература и политика

1.

Творчество и жизнь Виктора Ворошильского — образцовый пример эволюции польского интеллигента той формации послевоенного поколения, которая в начальный период своей деятельности была увлечена коммунистической утопией. Публикация его «Дневников», охватывающих 1953–1984 годы — отличный повод проследить этот путь, но данные заметки имеет смысл сопоставлять и с прекрасным сборником очерков «Возвращение на родину», а также с очередными томами, содержащими тексты, публиковавшиеся в журнале «Вензь» под общим заголовком «Записки с квартальным опозданием» (стоит напомнить, что этот ежемесячник, как, впрочем, и другие общественно-литературные журналы, выходил именно с таким сдвигом по времени) — «На ускользающей тверди», «В джунглях свободы» и «Позвольте нам радоваться» — два последних текста уже выходят за пределы охватываемого «Дневниками» периода. И конечно, уместным будет обращение к стихам и другим литературным произведениям, два из которых играют особенно важную роль — биографическая книга «Жизнь Маяковского» и роман «Литература». Следует также упомянуть о его книгах для детей, например, о популярном (впоследствии экранизированном) романе «И ты станешь индейцем», а также виртуозно написанной повести «Кирюшка, где ты?». Наконец, — но не в последнюю очередь — о «Венгерском дневнике».

После спасения от Холокоста — начало биографии поэта приводит в предисловии к сборнику Анджей Фришке в очерке «Политика и литература» — восемнадцатилетний тогда Ворошильский, «неотесанный и прямолинейный парень из городка на Немане», переезжает из Гродно в Лодзь и чуть ли не с вокзала направляется в районный комитет Польской рабочей партии, желая участвовать в коммунистическом проекте улучшения мира. Он отчитывается об этом в написанном в 1956 году очерке «Материалы к биографии». Первый вопрос, с которым к нему обращается партийный секретарь, звучит так: «Куда вы хотите пойти? К молодежи, в УБ^[1], в „Поль-Вых“^[2]?». Все решило стечение обстоятельств: «Через несколько дней открылась четвертая возможность. «Глос люду»^[3] опубликовал мою первую рифмованную инвективу, патетичную и

нескладную, под названием «Перед Берлином», после чего меня взяли репортером городского отдела. Так начиналась жизнь, в которой не было по отдельности партии, работы, стихов, но коммунизм был величайшей поэзией и ежедневным усилием, а стихи — путем к коммунизму, жизнью для коммунизма. Вы кривитесь от этого старомодного пафоса? Что поделаться, так я чувствовал»^[4].

Если задуматься о том, что — помимо драматического опыта, предшествовавшего приезду в Лодзь — сформировало позицию этого молодого человека, то, взвесив интеллигентское происхождение и внушительный багаж прочитанного, в том числе и на русском языке, накопленный за годы без школы, кажется, не будет никакого преувеличения, если предположить, что к политической жизни и принятию прокоммунистического выбора его привела литература. И литература тогда спасла его от еще худшей альтернативы, какой стало бы начало работы в госбезопасности. Но и понимание литературы было сформировано через принятие «метода» социалистического реализма, основным постулатом которого было требование «партийности», то есть писать в соответствии с линией коммунистической партии — правда, эта линия подвергалась постоянным изменениям, часто резким и непредвиденным, в чем люди искусства, вообще-то, не отдавали себе отчета, и что приводило к удивительным для них коллизиям, наиболее выразительным примером чего стал, быть может, скандал, вызванный публикацией Ворошильским в 1950 году на страницах журнала «Одродзене» статьи «Сражение за Маяковского», в которой он обвинял старших коллег в недостаточно революционной позиции. Факт принятия текста в печать стал, впрочем, предлогом для закрытия двух редакций литературных журналов — «Одродзене» и «Кузница» — и создания вместо них еженедельника «Нова культура», который в будущем сыграл в жизни писателя довольно важную роль.

А пока он стал одним из самых горячих сторонников коммунистического проекта. После дебютного сборника «Смерти нет!», опубликованного в 1949 году, он выпускает поэму «Ночь коммунара», посвященную Парижской коммуне. В предисловии он пишет: «В поэме (...) речь для нас идет не только о фигуре Ярослава Домбровского — хотя судьба этого польского революционера, предшественника Варынских, Дзержинских и Бучеков, важна и волнующа. Речь о том луче надежды, о котором говорил Верморель^[5], а вернее — о луче нерушимой уверенности в торжестве дела, луче, который является осью истории сражающегося лагеря прогресса»^[6]. В

концовке поэмы открывается картина происходящей при коммунизме «смерти истории»:

Падут века с рассветом юным,
конец истории и рабства.
Над Вислой, словно над Коммуной,
гимн революции несется:
Вставай, проклятьем заклеенный!^[7]

2.

Позицию Ворошильского в большой степени сформировали судьбы двух писателей: первым, несомненно, был Владимир Маяковский, а вторым Тадеуш Боровский — самоубийства обоих представляли для автора «Смерти нет!» тайну и вызов, с которым он пытался справиться в собственном литературном творчестве.

«Сражение за Маяковского», объявленное в «Одродзене», было, прежде всего, демонстрацией революционной позиции и сопротивлением тем, кто, по мнению автора, пытался погасить этот идейный жар, самым совершенным выражением которого, стала для него поэзия Маяковского. Он писал: «В антагонистическом классовом обществе литературные дискуссии также имеют классовый смысл. Когда у нас после войны, в условиях развивающейся и укрепляющей свои позиции народной революции, в условиях острой классовой борьбы, несколько молодых поэтов сознательно приняли в качестве идеологической исходной точки своего творчества традиции Владимира Маяковского, они столкнулись с неприязнью или даже враждебностью некоторых других поэтов и редакторов литературных журналов»^[8]. А через годы, в «Дневниках», отмечает: «Вечером, среди прочего, чтение «Сражения за Маяковского» 30-летней давности: гнетущее впечатление — что за язык, что за агрессивная глупость. Адски стыжусь этого; а те, что перепечатали для студентов, ведают, что творят»^[9] (статью в учебнике, содержавшем литературные программы после 1945 года, опубликовал Станислав Станух^[10]).

В ранний период смерть Маяковского он пытался связать с любовной драмой. В «Дневниках», в 1958 году, он записывает: «Сижу над письмами Маяковского и Лили [Брик]. Не знаю, любила ли она его, а даже если так, то немного спокойнее, нормальнее, обыденнее — повседневное общение с такой интенсивной, агрессивной эмоциональностью должно было

быть невыносимым, она должна была его отвергать, убегать от него. А ему пришлось страдать — и, наконец, покончить с этим»^[11]. Спустя годы оказалось, что причин для самоубийства автора «Облака в штанах» могло быть больше; Ворошильский документировал это в превосходной, новаторской по форме биографической книге «Жизнь Маяковского», опубликованной в 1966 году. Тогда он не знал того, что известно сегодня, после раскрытия части документов о деятельности советской госбезопасности: что Лиля Брик была сотрудницей «органов», от которых и получила заказ «на Маяковского».

В 1993 году, в заметках об организованной Анджеем Дравичем конференции о Маяковском, он отмечает: «Участвуя в этих обсуждениях, я думал о «моем Маяковском», так изменившемся для меня с течением времени — вначале он увлек подростка абсолютным отрицанием окружающего мира и патетической верой в воображаемый новый мир, затем втянул в свою загадочную судьбу, заранее отмеченную трагизмом и ведущую к фатальному исходу (...). Еще позже, вернувшись после долгого перерыва к заброшенному чтению, я с удивлением заметил прослеживаемый сквозь поэзию иконоборческий сюжет креста, распятия, Голгофы — и страстную надежду на возрождение в другом существовании, которое можно бы определить как долгожданную „цивилизацию любви”»^[12].

Несколько иначе обстоит дело с Тадеушем Боровским, другом поэта, с которым он, после непонятого и неожиданного самоубийства, прощался в 1951 году стихотворением «После смерти друга», единственным, которое он сохранил (хотя и не полностью), и которое открывало изданный в 1992 году авторский сборник поэтического творчества «Из путешествия, из сна, из умиранья»^[13]:

Под ногами — гравия тошный скрип,
треплет ветер кладбищенский падуб.
...Он мог бы жить себе и жить,
а похорон не надо б.^[14]

После смерти Боровского Ворошильский взялся за редактирование его пятитомного собрания сочинений (как спустя год оказалось, далеко не полного); Боровский также стал героем его первой биографической монографии, опубликованной в 1955 году: «О Тадеуше Боровском, его жизни и творчестве». В 1956 году он записывает в дневнике: «После смерти Тадека я говорил, что он явно был не вполне

нормальным — только психически больные кончают жизнь самоубийством»^[15].

Фигура друга станет одной из главных среди персонажей изданного в парижском Литературном институте романа «Литература», плотно насыщенного эссеистическим комментарием и ставшего попыткой справиться со сложным клубком политики и писательства в жизни поколенческой формации, наиболее близкой автору. Оказывается, что это жизнь, в которой граница, разделяющая эти две сферы экзистенции, остается неуловимой, размытой: «Анекдоты о Мэтре^[16], моментальные снимки Тадеуша, я ищу себя, пишу о себе, но я — это они, они — это я, Тадеуш, Влодек, Мэтр, девушка из Парижа (...) все вошли в меня, прошли сквозь меня, покинули меня, во мне остались»^[17].

Обе фигуры — Маяковского и Боровского — были отмечены «дурной верой» в коммунистическую утопию. Их самоубийства — а книга о Маяковском явно это подразумевает — имели (во всяком случае, об этом можно было догадаться, оценив силу идеологической, абсолютной вовлеченности обоих в пропаганду партийного взгляда на мир) свои источники в осознании ими участия в гигантской лжи. Раздумья о судьбе обоих также, без сомнения, были для Виктора Ворошильского частью фундаментального опыта.

3.

Вскоре писателю пришлось столкнуться с реалиями «родины пролетариата» — после показательной поездки в Советский Союз поэту пришлось познать менее презентабельную повседневность. Ворошильский — после того, как его жена, биолог, получила направление на учебу в Москве — решил в 1952 году продолжить в Советском Союзе свое образование, которое завершил с научной степенью кандидата наук.

Прибытие на учебу совпало с особым периодом, когда после смерти Сталина — записи в дневнике начинаются в октябре 1953 года — ослаб жесткий корсет идеологической чистоты, хотя до раскрытия Хрущевым части правды о преступлениях тирана было еще далеко. Ворошильский, о чем свидетельствует один из первых фрагментов, начинает отдавать себе отчет в том, что совместить партийную дисциплину с творческой свободой не получится: «Носителем великой общественной истины, бесспорно, является Партия. Но писательство не

может состоять в пассивном восприятии этой истины и поисков иллюстраций для нее, в расписывании партитуры не своей композиции. Партийный писатель должен иметь беспрепятственные возможности самостоятельно находить истину и преподносить ее читателям в субъективно пережитой форме. Дело читателей и партийных критиков — сопоставить затем картину мира писателя со знакомой им объективной реальностью и дружески обратить внимание писателя на возможные искажения и огрехи (а также, конечно, отметить и те вещи, которые писатель открыл первым, и которыми помог исправить искажения и огрехи читателей, критиков, Партии)»^[18]. Несомненно, автор этих слов тогда не осознавал противоречия, вписанного в данный вывод — само упоминание в личных записках о Партии с заглавной буквы свидетельствует о степени его беспомощности, но и подтверждает тот факт, что, по крайней мере, в отношении части интеллектуалов, связывающих себя с коммунистами, тезис Милоша о «гегелевском укусе» выглядит точным; вместе с тем, однако, оно указывает на беспокойство, связанное с всё более ясно осознаваемым им разрывом между пропагандой, «лакирующей» действительность, и реальным положением вещей — не случайно в московских записках от 1955 года заметное место занимает проблема потемкинских деревень. Двумя годами позже он напишет: «Не в этом ведь состоит наше поражение: еще больше, чем в марксизме-науке, мы разочаровались в марксизме-религии».

Однако эти слова записаны уже после следующего потрясения, которым стало репортерское участие Ворошильского в событиях венгерского октября 1956, свидетельством чего является «Венгерский дневник» писателя. Оценивая его достоинства, Анджей Фришке пишет: «Венгерский дневник» — необыкновенное произведение литературы факта, репортажа, важнейшее свидетельство венгерской трагедии, хотя в Будапеште было несколько посланцев польских изданий. «Дневник» — это, также, видимо, важнейшее творение Ворошильского, бессмертное, потому что в нем описано то, что всегда будет важно, и чего не воссоздать лишь на основе сухих канцелярских документов... Он показал драму надежды и драму поражения»^[19].

4.

Можно размышлять над тем, что именно было ключевым, формирующим опытом этого поколения — а в особенности,

этой поколенческой формации — война или, скорее, опыт сталинизма. Когда, после 1956 года, Ворошильский пишет о «нашем поражении», он, определенно, относит это не только к себе лично. В попытках отыскать причины этого поражения немаловажны, кажется, два фактора — первым была роль, которую в формировании увлеченных коммунизмом молодых интеллектуалов этого круга сыграли «старшие братья» и старшие коллеги, особенно те, что хорошо ориентировались в реалиях и либо замалчивали их, либо подсовывали объяснения вроде «исторической необходимости», а вторым, значение которого не следует преуменьшать, было влияние сторонников коммунизма из числа западных авторитетов, чей выбор не мог не влиять на молодые элиты в Польше и других странах советского блока. По большому счету, ответственность и первых, и особенно вторых, до сих пор не была вполне прояснена.

Это не означает, что война не оставила своего клейма. Тот опыт наиболее полно звучит, наверное, в сборнике коротких, прекрасно скомпонованных рассказов «Жестокая звезда». Здесь обращает на себя внимание, к примеру, автобиографическая миниатюра «Прятки» о том, как гестаповцы искали укрывавшихся в мастерской евреев — двое работающих там молодых людей уверяют, что ничего не знают о том, чтобы мастер кого-то прятал. После их ухода, товарищ обращается к рассказчику, восхищаясь его смелостью, а тот завершает историю: «Чесек и вправду не знал, что наш мастер держит в мастерской еврея, и что еврей этот — я»^[20]. Тем не менее, подобных текстов, относящихся к военным переживаниям, в творчестве Ворошильского найдешь немного. А вот послевоенный опыт, годы сталинизма, несомненно, составляют для него период, существование в котором явно, а чаще всего скрытно, сопровождает его жизнь и творчество постоянно, до конца. Не без некоторого удовлетворения он записывает в дневник фрагмент рецензии Северина Полляка^[21] на свой изданный в 1960 году сборник «Wanderjahre»^[22], в которой критик подчеркивает, что — несмотря на изменение тональности — поэтом руководят «те самые внутренние импульсы, которые когда-то были мотором его деятельности как лидера т.н. прыщавых»^[23], то есть (что сегодня приходится пояснять), яростных коммунистических агитаторов в писательской среде. И, не боясь ошибиться, можно признать, что те же импульсы сопровождали его жизнь и творчество и в последующие годы. С этой точки зрения Ворошильский более последователен как в своей жизненной позиции, так и в творчестве, чем большинство его ровесников,

а его судьба и поэтический путь складываются в такой же узор, какой в сфере философии обозначил путь Лешека Колаковского, с которым, впрочем, автор «И ты станешь индейцем» дружил со времен лодзинской юности, то есть еще с того времени, когда с энтузиазмом записывал очередные строки стихотворения «Еще о бессмертии»:

Но мы
в стране революции
проводники, а не путники —
по-новому
жизнь мы любим
и смерть
по-новому
мерим.^[24]

Спустя годы, в интервью Яцеку Тшнаделю^[25], он говорил о нежелании возвращаться к «тому», к ангажированности в сталинизм, однако подчеркивал: «Для меня, на самом деле, в моей жизни гораздо интереснее то, что я от этого отошел, чем то, что я в этом был. И я размышлял, размышляю, что такого было в тогдашней ангажированности, не только моей, что нам пришлось потом от этого отойти». И далее подчеркивает, что «мы, собственно, не жили какой-либо реальной жизнью»: «Когда потом, через много лет, я озаглавил свою книгу «Литература», то имел в виду и это. Мы жили в литературе»^[26]. Дело в том, что литература — это явление реального мира, она создает его либо опосредованно, через влияние на читателей, становясь образцом поведения, как поздние стихи Маяковского, либо, как в случае героев этого романа и создающего его автора, материей экзистенции, а тем самым превращаясь в опыт, механизм которого достоин познания, а по меньшей мере, вызывает любопытство.

Причем, интерес этот двигался как бы двумя путями. Вопрос «сведения счетов» с той ангажированностью соавторов соцреализма накладывался в 70-е годы на попытку переварить опыт Октября 1956, который, без сомнения, был, в значительной своей части, важным переживанием для поколения Ворошильского, а для продолжателей — существенной точкой отсчета в послевоенной истории Польши. Достаточно припомнить ту роль, которую сыграла лекция Лешека Колаковского в Варшавском университете в 10-ю годовщину тех событий. Ворошильский записывает в дневнике: «В октябре 1966 — собрание студентов (ССМ^[27] исторического факультета ВУ) в 10-ю годовщину октября, среди прочих, пригласили меня и Лешека, меня в последний момент

отозвали, так как было разрешено при условии, что не будет никого, кроме университетских; Лешек был, выступал»^[28]. Это выступление Колаковского с открытой критикой усиливавшегося гомулковского произвола, несомненно, стало одним из важных факторов, вдохновивших студенческий бунт 1968 года.

Оно стало еще и свидетельством «отхода от этого», а фактически, уже полного разрыва с «этим». Для молодежи, однако, интересным было именно «это»: как вообще было возможно войти в «это», в чем состояла та фанатичная ангажированность? Частично принималась интерпретация Милоша, представленная в «Порабощенном разуме», однако, в то же время, ощущалось, что ее недостаточно. Бывшие соцреалисты старались обойти слишком настойчивые вопросы о прошлом, ссылаясь на свое сведение счетов после 1956 года. Тадеуш Конвицкий писал о подстрекательстве к «политической порнографии». И эта напряженность частично проявилась в пространстве возникшего после 1976 года самиздата, когда на страницах подпольного «Пульса» был опубликован блок материалов с очерком Густава Герлинга-Грудзинского, посвященный как раз этой теме. Ворошильский, тогда редактор первого независимого литературного журнала «Запись», не без скрытого раздражения отмечает: «Адась [Михник]. О публикациях «Пульса» и т.д. Не хочет отвечать на это прямо (слишком много чести), зато обещает эссе, в котором ответит опосредованно, на сюжетах «Возвращения на родину» и «Недействительности» [Казимежа Брандыса]»^[29]. Может быть, данную запись стоит дополнить информацией о том, что это эссе, действительно, появилось и было опубликовано «Пульсом», а называется оно «Интеллектуалы и коммунизм в Польше после 1945 года».

5.

Писатель, вышедший из партии после 1968 года, был подвергнут усиленному надзору, а также попал под цензурные ограничения, распространившиеся даже на иностранные издания. Правда, через некоторое время репрессии постепенно смягчились, но не до конца, что привело, как и в случае нескольких других авторов, чьи публикации блокировались, к сотрудничеству Ворошильского с католическим ежемесячником «Вензь», на страницах которого потом годами печатались, с переменным цензурным успехом, фельетоны, складывавшиеся в цикл «Записки с квартальным опозданием»

(название отсылало к издательскому циклу журнала, обычно продолжавшемуся квартал). В то время такое сотрудничество было, на что сегодня стоит обратить внимание, видом идейной демонстрации: круг католической прессы — прежде всего, «Вензь», «Знак» и «Тыгодник повшехны», впоследствии также «В дродзе» — составлял в Польше своеобразный анклав, аналогу которому напрасно было бы искать в остальных странах советского блока. Он давал возможность творческого существования писателям, не обязательно связанным с католицизмом, но остававшимся, — как хотя бы Антоний Слонимский, печатавший постоянный фельетон в «Тыгоднике повшехном», — независимыми от системы. С некоторой осторожностью этот журнальный круг можно назвать в той же мере официальным, как и альтернативным.

Этот период — с февраля 1968 до сентября 1979 — бывший необыкновенно важным для писательского развития Ворошильского, не документирован в «Дневниках». Поэтому вновь мы встречаемся с автором в то время, когда он уже является ведущим редактором основанного в конце 1976 года первого бесцензурного литературного журнала, каким был ежеквартальник «Запись». Он включается также, хотя не без сохранения определенной дистанции, в деятельность демократической оппозиции, прежде всего, кругов, связанных с Комитетом защиты рабочих^[30]. Несколько раньше он приступил к сотрудничеству и с парижской «Культурой» Ежи Гедройца. На страницах журнала он публикует стихотворение, которое достаточно точно передает его тогдашнее состояние духа:

В затвердевающей трясине
всегдашней нашей тихой бойни
и в неустройстве и в бессилье —
я в жизни не был так свободен (...)

Ведь всё тогда свободой станет
когда чрезмерна сила гнета:
тяжелый дух земли вой камня
и грязно-серое болото^[31]

Однако ранее, в 1970 году, выходит переломный в творчестве поэта сборник «Уничтожение видов», в котором можно найти написанное в 1967 году стихотворение «Старый Маркс», представляющее собой, если читать его как некую автобиографическую рефлексию автора, документ, видимо, подтверждающий тезис Станислава Гроховяка^[32] о том, что с

возрастом бунт успокаивается. Но ведь это совсем не должно означать, что он перестает быть бунтом:

Поражает меня и притягивает Старый Маркс не такой
внезапный и драматический как Молодой Маркс не
такой ядовитый Более трудный Он
больше не пишет памфлетов Он штудиирует первоисточники
в Британском Музее Всё
следует сверить ничто не должно
содержать ошибок (...)
Я доверяю Старому Марксу который
конечно же хочет изменить мир но хочет его
также и понять (...)
Старый Маркс ценит Шекспира и Эсхила но окружающий мир
нехорош посему он видит возможность лучшего
порядка Передавая свои знания
он даёт миру шанс^[33]

Это важное стихотворение, с отголоском последнего из
одиннадцати марксовых «Тезисов о Фейербахе», где
утверждается, что до сих пор философы лишь
интерпретировали мир, тогда как дело заключается в том,
чтобы его изменять, и который, наверняка, был одним из
двигателей для ангажирования людей формации
Ворошильского и Колаковского — ангажирования, лишённого
потребности понимания, мышления, углубленной рефлексии,
сведенного к мгновенной реакции на то, что при
поверхностном взгляде может показаться злом, которое легко
устранить. Потребность в переменах естественна, почти
очевидна, но прежде всего она должна быть разумной.
Юношеское очарование Марксом не столько исчезает — а в
любом случае не исчезают моральные предпосылки,
заставляющие стать на сторону улучшения мира — сколько
позволяет, с дистанции собственного опыта, увидеть его труды
в очищенном от идеологических перегородок свете. Нужно
также помнить, что в те годы, которые в дневнике были
обойдены молчанием, в парижском Литературном институте
выходят три фундаментальных тома «Основных направлений
марксизма» Лешека Колаковского, первый из которых
удостоился глубокой рецензии Стефана Амстердамского в
четвертом номере «Записи».

Вскоре, уже при военном положении, поэт, говоря с
интернированными друзьями об ином опыте и идейном
выборе, отметит, описывая одно из дискуссионных собраний:
«Я давно отошел от этого и думаю, что последняя четверть века
с лишним освобождает меня от возобновления покаянных

исповедей, к которым призывает бывших коммунистов Стефан Несёловский^[34]. Но хочу сказать, что к себе бывшему, тому, я не чувствую ни ненависти, ни презрения, в лучшем случае, некоторую ироничную дистанцию, некоторую потребность в дискуссии, несогласии. Что было, то было. На человека нелегко навесить ярлык. Я призываю Вежбицкого^[35] как писателя, талантливого писателя, к большему воображению относительно различия в судьбах, различия в изменяющихся представлениях о мире, различия в выборе. (...) Когда, годы тому назад, я окончательно расстался с партией, у меня было искушение смотреть с подозрением на тех, кто в ней остался либо только вступал. Как же это неверно. Пример Баранчака^[36]. Пример Самсоновича^[37]. Это ужасная ошибка — смотреть на всех этих людей как на «гнид», предателей или Бог знает, каких тварей^[38].

6.

Дневниковые записи заканчиваются в декабре 1982 году, когда Ворошильский уже на свободе — еще не всех интернированных освободили, в тюрьмах остается «экстрема», которой угрожает серьезный политический процесс, действуют подпольные структуры «Солидарности», действуют подпольные издательства. Только что умер Брежнев, ничто не предвещает тех перемен, которые вскоре произойдут. Поэт пытается найти себя в новой ситуации, устанавливает контакты, разговаривает, наблюдает: «В газете [...] “реорганизация столичных артистических институтов”, то есть репрессии против театральной среды. Министр культуры и искусства “обратился к мэру Варшавы с просьбой о передаче “объекта Драматического театра” для создаваемого Театра Речи Посполитой (...), Большой театр, Национальный театр и Национальная филармония передаются под “прямой надзор министра”»^[39]. Таким образом, продолжается объявленная еще в декабре 1981 года премьером Раковским «смена элит».

Всё остальное «обычно», как в стихотворении «Здесь» из тех времен:

хорошо что ты вернулся
ну как там было спрашивает
по-доброму но без особого удивления
ведь она ко всему привычна
и к трубе зовущей и к суме
и к тюрьме и тракту

и вот не зарекаясь ни от чего
старушка-повседневность
семенит танцует чокается со мной
и к бьющемуся сердцу неторопливо
меня прижимает
снисходительно улыбаясь^[40]

Эта «старушка-повседневность» появилась в произведениях Ворошильского еще раньше, как в стихотворении «Фашистские государства»:

в этих государствах было много
людей обыкновенных и людей хороших и таких которые
ни о чём не знали (...)
или если
догадывались о чём-то ничего не могли сделать и утешались
говоря Мы по крайней мере
не делаем ничего плохого живём как жили всегда
Что было правдой

А все-таки это были
фашистские государства^[41]

Погружение в историю и политику было, несомненно, одной из главных — хотя далеко не единственной — тем творчества Ворошильского, а опыт, связанный с участием в поддержке тоталитарной системы — одной из важных точек отсчета. Друг поэта, из совершенно другой поколенческой формации, Збигнев Херберт, тоже поднимал этот вопрос, наиболее откровенно, кажется, в знаменитом стихотворении «Могущество вкуса», в котором писал об отказе в соучастии:

Наш отказ несогласие наше упорство
силы характера не требовали вовсе
была у нас малость необходимой отваги
но в сущности это было дело вкуса (...)
Кто знает если бы нас искушали умней и красивей^[42]

Здесь обращает на себя внимание это умолчание, своеобразная недоговоренность, в которой достаточно намеков на то, что стойких всё-таки можно было «купить», просто на эти цели не хватало средств. В конце концов — что определилось эстетическими соображениями, переходом на сторону, скорее, литературы, чем политики — две формации всё же встретились. Эта встреча не была и по-прежнему не остается

лишенной натянутости, о которой, в связи с упомянутой дискуссией, писал в своем дневнике Ворошильский: «У нас было не только ощущение важности этой дискуссии, но мы также чувствовали (...) опасение, что она разделит нас на будущее, что представители различных точек зрения будут коситься друг на друга. Спустя месяц с небольшим, кажется, можно сказать, что этого не случилось»^[43].

«Старушка-повседневность» после 1989 года оказалась более хищной, чем в достаточно непривычных условиях интернирования. Натянутость вернулась, нарастали новые непонимания. Поэт пишет поэму «В поисках утраченного тепла», в которой регистрирует, словно сейсмограф:

Дрожь мира
в карцере истории^[44]

Он обитает в «джунглях свободы», законы которых устанавливаются межчеловеческими, в том числе основанными на политических эмоциях, отношениями. Размышляя о причинах, по которым снова, после многих лет примирения, люди, даже испытывающие друг к другу уважение, не в силах встречаться, он пишет на страницах журнала «Вензь»: «Дело в том, однако, что и в человеческой истории, и в современности не существует одного зла, сосредоточившись на котором, мы можем забыть обо всех колебаниях, разногласиях, конкретных решениях и оценках. У дракона много пастей, зло плюралистично и нередко сопряжено с каким-то идеалом, истовой верой, доброй надеждой. (...) Ловушка, затягивающая людей, состоит в том, что часто, восставая против зла, которое их оскорбляет и ранит, они не способны уберечься от идеализации того, что кажется его противоположностью, шансом на сопротивление и победу над злом, поэтому они вступают в это что-то и невольно увязают в чем-то еще более ужасном, нежели то, что они отвергли»^[45].

«Дневники» представляют собой — помимо многих других достоинств этой книги — поразительное описание освобождения из ловушки коммунизма и попыток, не отказываясь от участия в публичной жизни, сохранить необходимую свободному писателю дистанцию по отношению не только к текущим событиям, но, в первую очередь, к «истовым верам», мотивирующим на их создание, что, конечно, не должно означать отказа от пользования чувством вкуса. Всё более отдаляясь от политики и ее завихрений, он признается в финале стихотворения без названия:

Я ну что ж
я держу сторону поэзии
какой бы тривиальной и мелодраматичной
не была ее материя^[46]

Перевод Владимира Окуня

-
1. УБ — служба госбезопасности в ПНР — Примеч. пер.
 2. «Поль-Вых» — сокращенное название политико-воспитательных органов в армии и МВД ПНР — Примеч. пер.
 3. «Глос люду» (польск. «Голос народа») — печатный орган ЦК Польской рабочей партии, основан в 1944 году — Примеч. пер.
 4. Wiktor Woroszyński: Powrót do kraju. Kartki z dziennika, wspomnienia, polemiki, artykuły, Londyn 1979, s. 10–11.
 5. Огюст Жан-Мари Верморель (1841–1871) — французский журналист и революционер, участник Парижской коммуны — Примеч. пер.
 6. Wiktor Woroszyński: Noc komunarda, Warszawa [1949], s. 6.
 7. Перевод Владимира Окуня.
 8. Wiktor Woroszyński: Batalia o Majakowskiego. Odrodzenie 1950 nr 5.
 9. Wiktor Woroszyński: Dzienniki 1953–1982, Warszawa 2017, s. 309.
 10. Станислав Станух (1931–2005) — польский писатель, публицист, репортер — Примеч. пер.
 11. Wiktor Woroszyński: Dzienniki op. cit., s. 177.
 12. Wiktor Woroszyński: W dżungli wolności. Kronika prywatna 1989–1993, z zapisków z rozmaitym opóźnieniem i innych roztrząsań czasu tego ułożona, Warszawa 1996, s. 247.
 13. Wiktor Woroszyński: Z podróży, ze snu, z umierania, Kraków 1992. В авторской аннотации, комментируя включение этого стихотворения, он писал: «Это произведение — чего я не мог знать, когда писал его — дало начало одному сюжету, который еще не раз возвращался в моих стихах. Но и в нем я вычеркнул в середине строфы, которые считаю поэтически пустыми и излишними» (стр. 243).
 14. Перевод Владимира Окуня.
 15. Wiktor Woroszyński: Dzienniki..., op. cit., s. 162.
 16. Прототипом Мэтра в романе «Литература» считается Владислав Броневский — Примеч. пер.

17. Wiktor Woroszyński: Literatura. Powieść, Paryż 1977, s. 136.
18. Wiktor Woroszyński, Dzienniki..., op. cit., s. 122.
19. Andrzej Friszke: Polityka i literatura [w:] Wiktor Woroszyński: Dzienniki..., op. cit., s. 35.
20. Wiktor Woroszyński: Okrutna gwiazda, Warszawa 1958, s. 24.
21. Северин Полляк (1907–1987) — польский филолог, поэт, эссеист и переводчик — Примеч. пер.
22. «Годы странствий» (нем.) — Примеч. пер.
23. Wiktor Woroszyński, Dzienniki... op. cit., s. 183.
24. Перевод Владимира Окуня.
25. Яцек Тшнадель (р. 1930) — польский поэт, историк литературы и литературный критик, публицист — Примеч. пер.
26. Jacek Trznadel: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Paryż 1986, s. 86, 91.
27. Союз социалистической молодежи (польск. ZMS) — Примеч. пер.
28. Wiktor Woroszyński: Dzienniki... op. cit., s. 212.
29. Op. cit., s. 272.
30. Комитет защиты рабочих (КОР) — польская оппозиционная правозащитная организация 1976–1981 годов. Занимался помощью преследуемым в ПНР забастовщикам и репрессированным диссидентам — Примеч. пер.
31. Перевод Владимира Окуня.
32. Станислав Гроховяк (1934–1976) — польский поэт, прозаик, драматург — Примеч. пер.
33. Перевод А. Эппеля.
34. Стефан Несёловский (р. 1944) — польский биолог, политик, оппозиционный деятель в период ПНР — Примеч. пер.
35. Петр Вежбицкий (р. 1935) — польский журналист, писатель, публицист. Один из самых известных его текстов, опубликованный в подпольной прессе — «Трактат о гнидах», в котором автор критикует позицию интеллектуалов, лояльных к властям ПНР — Примеч. пер.
36. Станислав Баранчак (1946–2014) — польский поэт, переводчик, эссеист — Примеч. пер.
37. Хенрик Самсонович (р. 1930) — историк, академик Польской академии наук — Примеч. пер.
38. Wiktor Woroszyński: Dzienniki..., op. cit., s. 572.
39. Там же, стр. 706–707.

- 40. Перевод Владимира Окуня.
- 41. Перевод В. Британишского.
- 42. Перевод В. Британишского.
- 43. Wiktor Woroszyński: Dzienniki..., op. cit., s. 673.
- 44. Перевод Владимира Окуня.
- 45. Wiktor Woroszyński: W dżungli wolności, Warszawa 1996, s. 211–212.
- 46. Перевод Владимира Окуня.

Доклад, посвященный «Обществам дружбы»

6 мая 1917 г.

Главное правило, о котором мы постоянно забываем, заключается в том, что новая социальная жизнь, новая институция, а следовательно — и новое государство нуждаются, прежде всего, в новых людях, людях соответствующих, не только взгляды и убеждения, но — что самое важное — повседневные привычки и потребности, нравственное сознание и образ жизни которых находятся в полном согласии с тем новым социальным миром, который им предстоит создавать.

Всякая институция, как государственная, так и общественная существует только в людях, в их потребностях, привычках, верованиях и чувствах — существует до тех пор, пока обнаруживает сама себя в сознании человека.

Когда потребности проходят, а верования и чувства уступают место другим — тогда институции, существовавшие благодаря им, умирают естественной, неизбежной смертью, и никакие «высочайшие повеления» власти, никакие усилия реакционеров, консервативных правящих сил неспособны их сохранить.

И наоборот, если в человеческой жизни появляются новые потребности и привычки, связанные с повседневной, серой жизнью, если начинает меняться то, что мы называем сознанием человека, т.е. его способ отношения к другим людям и к жизни с ними — тогда необходимо развитие новых общественных институций, которые соответствовали бы изменениям сознания и жизни человека, — тогда государственные институции, т.е. институции, в прошлом составлявшие неотъемлемую часть существования, начинают все сильнее стеснять людей, все больше превращаются в препятствие в их жизни — противоречие между жизнью населения и государством становится все явственнее и должно привести к решитель-

битве, которая не может закончиться иначе, кроме как исчезновением или поражением государственных институций.

Таким образом, мы видим, что от незначительных перемен в человеке, перемен нравственных, происходящих в человеке, и перемен в его повседневной жизни, от этих зачатков нового сознания исходит мощный дух смерти и социального обновления.

Институции, испытывавшие лишь политическое поражение, могут возродиться и снова набрать силы; институции же, поверженные с точки зрения нравственности, источники потребностей и чувств которых высохли, умирают по настоящему.

И поэтому, когда перед нами стоит задача сформировать новый общественный строй и новое государство, мы должны, прежде всего, создать нового человека, в корне нового, то есть не только с новыми взглядами и идеями, но и с новым сознанием. Потому что оно есть истинный столп мира, оно порождает новую общественную жизнь, новые формы: новый строй и государство.

Сегодня мы должны строить новую, независимую Польшу. Ее существование пока ограничивается лишь официальным названием. Создать ее, построить всю ее жизнь можем только мы сами.

А эта задача так велика, имеет столько огромное значение, что мы не можем сегодня даже осознать всего, что нас ожидает как создателей нового мира, мы не можем оценить масштаб поступка, который нам предстоит совершить.

Польша должна быть не только полностью независимой, но должна быть также великой, сильной, демократической, т.е. народной и нравственно безупречной, должна быть такой, какой ее видели в мыслях и описывали в своих произведениях гении нации — Мицкевич, Словацкий, великие поэты и великие предводители заговоров и восстаний.

Но можем ли мы создать такую Польшу из людей, которые сегодня образуют нацию, из тех характеров, которые мы чаще всего видим вокруг в городах и деревнях?

Можем ли мы из рабов создать государство свободное, сильное и демократическое? Можем ли мы из людей

себялюбивых и трусливых создать нацию, обладающую красотой коллективной жизни и институций — нацию, сильную внутренне, сплочённую, твердую духом?

Не можем, потому что коллектив отражает наиболее распространенный тип личности. Общественные институции отражают сознание среднестатистического человека.

А мы видим, как обстоят дела — каков среднестатистический тип современного поляка. Вековое рабство проникло в самую его глубину. Он все еще испытывает потребность чувствовать над собой чужую палку, потребность услышать приказ, чтобы сделать то, что не представляет для него личного интереса. Он все еще труслив, боится поляка в себе, готов в любой момент отречься от собственного отечества, даже от его флага и названия.

Это люди, которые боялись даже снять российские вывески, пока им не приказали, боялись снести памятник позора, установленный в самой столице, на Зеленой площади^[1].

Они боялись собственного знамени, боялись даже думать о Легионах^[2] — пока Легионы своим присутствием не принудили их к этому.

Люди, которые не умеют самостоятельно ничем распоряжаться, которые отвыкли от самостоятельных поступков.

Люди, которые не понимают того, что возможна иная власть, кроме чужой, навязанной, которые самую идею польского правительства и польской армии считают смешной и нелепой.

Люди, полностью утратившие чувство солидарности, всякое умение оказывать взаимную помощь и всякую потребность в ней — именно в том, что составляет основу демократии, — и теперь не способны ни на что другое, кроме как просить или подавать милостыню.

Из подобных характеров не может возникнуть демократия и даже свобода.

Польша независимая и народная нуждается в других людях, людях иного типа, с иным сознанием; она нуждается в людях, которые умеют самостоятельно строить жизнь и которые смотрят на общественную жизнь как на

свободное волеизъявление сообщества и оказание людьми взаимной помощи.

Воспитание людей такого типа и есть задача «Обществ дружбы».

Что они такое? Это следующий шаг, развитие кооперации в нравственной сфере — обыкновенная школа, школа дружбы между людьми, стремящаяся к тому, чтобы на смену типу эгоистичному пришел тип, живущий и для других.

Они представляют собой общества взаимной помощи, распространяющейся на все случаи жизни — как Благотворительное общество, но помогающие не подаяниями, а по принципу взаимной помощи равных. Сегодня мне — завтра я другим.

Такие общества должны быть небольшими, функционировать иначе, чем учреждения, люди должны знать друг друга. Принцип функционирования незамысловатый. «Общество» становится для члена как бы большой семьей и никого не бросает на произвол судьбы, в одиночестве и бессилии.

Следовательно, когда в жизни возникает какая-то нужда, притеснение, беда, болезнь, член «Общества» обращается в свое бюро, сообщает, что случилось, и бюро может взять решение проблемы на себя — созывает собрание, чтобы обсудить, как следует действовать, назначает людей и устраняет трудность.

«Общество» поддерживает связь с другими институтами и кооперативами, следовательно, пользуется также их помощью.

Цель — приучить людей к взаимной помощи, к дружбе, к жизни более высокого уровня.

Правила: 1) взаимная помощь распространяется на все жизненные потребности; 2) члены «Общества» должны знать друг друга, знать свою жизнь, потребности и т.п.; 3) этому способствует создание «Общества» на основе соседства; 4) «Общества» в то же время не могут включать большое число людей — максимальное количество членов не превышает 50 человек; 5) «Общество» исключает любые проявления филантропии и милостыню.

Деятельность: [1] У «Общества» есть бюро, куда каждый член обращается со своей нуждой — и бюро должно в данном деле помочь ему, прибегая к помощи членов «Общества», а также к помощи существующих институций, таких как службы

правопорядка, школы, бюро оказания помощи в поиске работы, кооперативы, больницы. В этом случае «Общество» становится посредником между данной институцией и своим членом — использует свои связи и свой статус «Общества». 2) Для облегчения помощи «Общество» старается, чтобы в нем в качестве членов состояли врачи и адвокаты, оказывающие свои услуги бескорыстно. Если такой возможности нет — договаривается специально об оказании помощи со знакомыми врачами и адвокатами. 3) У «Общества» есть помещение, где члены могут проводить свободное время дня и вечера, чувствуя себя дома. В помещении должны быть журналы и книги и недорогой буфет (чай, кофе, молоко). 4) «Общество» может также создавать вспомогательные институции, если в данном районе их нет, такие как службы правопорядка, школы, больницы и т.п. 5) «Общество» занимается развитием и распространением своей главной идеи — преобразования жизни и человека в направлении (коммунизма) сообщества дружбы между людьми, искоренения эгоизма и безразличия к несправедливости в отношении незнакомых людей, возрождая религию христианства — религию братства. Распространение этой идеи с помощью журналов, брошюр, книг, лекций, бесед с детьми в школах. «Общество» не забывает, однако, что такая идея может распространиться и укорениться с помощью самой жизни нового типа, которой пытается дать начало.

Нашим главным источником, способствующим распространению идеи и ее внедрению в жизнь, станет создаваемая нами сейчас Центральная комиссия «Обществ дружбы». Она должна дать начало организационной и агитационной деятельности в целом — и в дальнейшем стоять на страже чистоты принципов и установок «Обществ дружбы».

Присяга

Я, Х. У. обещаю перед Богом и собственной совестью, что с этой минуты буду избегать в своей жизни себялюбия, что никогда не причиню вред другим людям ради собственной выгоды, что, напротив, буду стараться по мере возможности помогать другим и воплощать в своей жизни идею взаимной помощи и относиться к другим людям как к друзьям, чья нужда и беда не могут быть мне безразличны. В отношении «Обществ дружбы», в которое я вступаю, обещаю оставаться абсолютно порядочным в поступках, а также выйти из «Общества», если моя жизнь перестанет соответствовать

главным принципам «Общества»: оказанию взаимной помощи и дружбе между людьми.

Перевод Ольги Чеховой

*Текст впервые опубликован в 1-м томе «Собрания сочинений»
Эдварда Абрамовского.*

**Edward Abramowski, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie pism treści
filozoficznej i społecznej,**

t.I, Warszawa 1924, s. 381–386.

-
1. Около 1894 года на Зеленой площади в Варшаве (сегодня площадь Домбровского) царские власти установили обелиск в честь офицеров, погибших во время беспорядков в ноябрьскую ночь 1830 года. Памятник демонтировали в 1916 году.
 2. Легионы под предводительством Юзефа Пилсудского были сформированы по инициативе проавстрийских политических деятелей Польши во время Первой мировой войны и просуществовали с 1914 по 1918 г.

К столетию смерти Эдварда Абрамовского

Влияние и значение мысли Эдварда Абрамовского (1868–1918) нашло свое отражение как в программах ППС^[1] и ПКП^[2], так и в программах КОР^[3] и «Солидарности», а также польских организаций анархического толка. Под влиянием его идей и творчества находились, в частности Мария Домбровская, Стефан Жеромский, который восхищался Абрамовским и так писал о его творчестве в «Кануне весны»: «Новатор, пионер во всех областях. Главной областью его духовной работы была психология. Сын своего времени, социалист, революционер, знакомый со всеми тонкостями учения Маркса; подходя к нему со своим критерием субъективного феноменализма, он создает в конце концов собственное учение — бойкота государства путем объединения людей в союзы, товарищества, кооперативы. Пытается создать новый, незнакомый мир, который, в его понимании, будет великим, всеобщим этическим движением, — мир воображаемый, мир, созданный мечтой. Эта, созданная мечтою еще в русскую эпоху социальная и нравственная революция привела его логически к роли теоретика практического кооперативного движения. А его идея антигосударственной организации людей привела его на практике, в эпоху власти царизма над Польшей, к признанию несуществующей Польши, как воплощения его идеи»^[4].

Социалистические, антигосударственные, кооперативистские, подчеркивающие значение братства, дружбы и самоуправления, взгляды Абрамовского имели не только теоретическую ценность, нельзя также сказать, что его деятельность и исследования (под конец жизни — в области психологии) носили исключительно научный характер. Он был поглощен практической, социальной деятельностью, позволявшей воплотить в жизнь его идеи. Среди прочего, он написал «Устав общества <Коммуна>», выступил инициатором образования кружков «этиков», ориентированных на продвижение идеи братства и борьбу с эгоизмом, а также содействовал развитию кооперативного движения в Польше (в том числе инициировал создание «Союза обществ социальной взаимопомощи» и «Движения кооператоров»).

По мнению Абрамовского, кооперация вне и против государственных структур должна была привести к образованию истинного демократического сообщества и высвобождению подлинного потенциала человека. Он так писал об идее кооператива: «он учит творческой свободе, потому что в нем формируется истинная демократия. Там, где люди хотят все получить от государства, где все свои надежды возлагают на те или иные реформы, идущие сверху, там нет ни демократии, ни свободных граждан; там только подданные в большей или меньшей степени прогрессивного, в большей или меньшей степени просвещенного правительства. Демократия и свобода формируются только тогда, когда люди, вместо того, чтобы требовать реформ от государства, проводят реформы сами, силой добровольной солидарности» («Братство, солидарность, сотрудничество» 2014).

На судьбу независимости Польши Абрамовский уже не оказывал непосредственного влияния — он умер в 1918 году в Варшаве.

-
1. Польская социалистическая партия
 2. Польская крестьянская партия
 3. Комитет защиты рабочих или Комитет общественной самообороны
 4. «Канун весны», пер. Евгения Топоровского

Как я порезала следователя

Наталья Горбаневская (1936–2013) вместе с Ежи Помяновским стояла у истоков «Новой Польши», была одним из создателей журнала. В эти дни мы хотели бы напомнить нашим Читателям одну из ее архивных статей, в которой Горбаневская с характерной легкостью и чувством юмора рассказывает об ужасном происшествии, случившемся во время обыска ее московской квартиры.

На дворе стоял 1969 год. За два месяца между обысками (23 октября и 24 декабря) у меня снова накопились гора самиздата, и районный следователь Шилов, непривычный к политическим делам (на то ему в помощь были приданы два типа из КГБ), составляя протокол, время от времени обращался ко мне же за помощью. Во время обыска всегда выплывают мелочи, которых раньше было не отыскать. Так нашлось бритвенное лезвие, которым я немедленно — зная, что сегодня меня не просто обыщут, но заберут, — принялась точить карандаши для старшего сына-школьника. Оно было у меня в руке, когда Шилов протянул мне очередной «документ», предназначенный к изъятию: как, мол, это лучше записать в протокол?

Едва увидев, что он собирается изъять, я бросилась отнимать у него сколотые скрепкой листки, восклицая: «Что вы берете! Это же автограф Ахматовой!» — и... в короткой и непобедоносной схватке зацепила его бритвой по косточкам пальцев. Потекла кровь, один из гебистов в восторге кинулся к телефону, извещать «моего» следователя Акимову, что Горбаневская оказала вооруженное сопротивление, напала на Шилова... Уже решенный арест получил дополнительное обоснование, а главное, неизмерима была чекистская гордость: в кои-то веки натолкнулись на «вооруженное сопротивление».

Увы, я порезала следователя нечаянно. При всем моем пресловутом экстремизме, насильственные действия никогда меня не увлекали и вид крови не одушевлял. Я даже извинилась перед Шиловым, о чем он позднее упомянул на суде, но это не помешало следствию и суду к моей «политической» сто девяностой прибавить обвинение в оказании сопротивления сотруднику следственных органов при исполнении служебных обязанностей (статья подразумевает сопротивление умышленное и насильственное).

То, что у меня хотели изъять — и изъяли, — был сделанный

моей рукой список текста «Реквиема» с титульным листом — автографом Ахматовой.

Я переписывала его в гостях у Анны Андреевны в Москве (в тот момент своей кочевой московской жизни она жила у Маргариты Алигер) в декабре 1962 или начале января 1963 года. Дату можно было бы уточнить: она есть на автографе (спасенном в конце концов, но мне сейчас недоступном).

Анна Андреевна сказала мне: «Перед вами тут был Солженицын и тем же карандашиком тоже переписал весь текст»

(«карандашиком» она называла шариковую ручку). Когда я кончила переписывать и попросила Ахматову надписать мой экземпляр, она не просто его надписала, но сделала целый титульный лист — так красиво, как она одна умела.

Вернувшись от Анны Андреевны, я немедленно принялась перепечатывать «Реквием» на всех доступных мне машинках (своей тогда еще не было). Я сделала по меньшей мере пять закладок в четыре копии и все их раздала с условием: перепечатать и мне вернуть мой экземпляр плюс еще один. А потом снова пускала в оборот. Мои два десятка (если не больше) экземпляров породили самое меньшее сотню. В целом же, по моим расчетам (известно, что многие действовали, как я), в первые же месяцы «тираж» самиздатского «Реквиема» перевалил за тысячу.

В мае 1963 года в Ленинграде я подарила один машинописный экземпляр «Реквиема» Анджею Дравичу. Когда в том же году у Ахматовой появилась беленькая книжечка «Реквиема», кто-то сообщил ей, что текст был получен из Польши. Анна Андреевна сделанным неудовольствием приговаривала:

— Ох, Наташа, не надо было давать «Реквием» этому поляку...

— полуулыбаясь и, особо глубоким голосом растягивая гласные, прибавляла: — Ну, конечно, я понимаю: такой красивый поляк...

Я называю имя Дравича лишь потому, что, встретившись со мной много лет спустя на Западе и выслушав эту историю, он почти смущенно признался, что он тут ни при чем. И все-таки попавший на Запад экземпляр «пошел» от моего списка. В этом меня убедила ошибка в одной строке текста: вместо «под кремлевскими стенами выть» в книжке стояло «под кремлевскими башнями выть». Я возмутилась, кинулась к своему рукописному списку — это была моя описка! Теперь она закреплена во всех изданиях, вплоть до нынешней публикации в «Октябре». Зоя Томашевская, которая приводит разночтения текста по сравнению с магнитофонной записью чтения Ахматовой в 1965 году, этого разночтения не указывает. Чем это объяснить, не знаю: мне помнится, что «башни» вместо «стен» указала сама Анна Андреевна. К счастью, мой список был одним из многих, и есть возможность проверить и, если надо,

восстановить эту строку либо хотя зачислить ее в варианты. В 1967 году мне выпала редкая возможность — публично, с трибуны Политехнического музея, прочитать отрывки из «Реквиема». Я еще не была заклеимённой, и кто-то позвал меня участвовать во вполне официальном выступлении молодых поэтов. Мы пошли туда с Ларисой Богораз, Толей Марченко и недавно освободившимся после десятилетнего заключения Леней Ренделем. Там надо было не просто читать стихи, а о чем-нибудь «интересном» рассказать. А у меня был с собой «Реквием».

— Я была знакома с Ахматовой, — сказала я или, что более вероятно, тот кто-то, кто меня пригласил, сказал: — А Наташа была знакома с Ахматовой.

— Вот и прекрасно, — воскликнул организатор и, выйдя на сцену, объявил, что у нас-де сегодня каждый представляет публике своих друзей (в чем это состояло, убей Бог, не помню), а вот такая-то расскажет об Анне Ахматовой. Я рассказала — немного: я не очень умею «рассказывать об Ахматовой», я ее всегда созерцала с таким трепетом, что потом ничего «интересного» не могла вспомнить. А в заключении прочла из «Реквиема», положив на трибуну крамольные машинописные листки, — «Это было, когда улыбался...» («Вступление») и обе части «Эпилога». И как это звучало в Большой аудитории Политехнического музея, в полной, сосредоточенной тишине. Впрочем, наверно, тише всех сидели те, кто «не досмотрел» и допустил такую «демонстрацию»...

Что же до изъятого на обыске списка (закапанного кровью!), то поднятый вокруг него шум привел к тому, что летом 70-го года, после суда, «Реквием» оказался в числе немногих бумаг, возвращенных моей маме. Стало быть, признан некриминальным. Что не помешало годом позже одесскому суду включить «Реквием» в приговор по делу Рейзы Палатник как пункт, доказывающий ее вину в «изготовлении и распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»...

Чудно, что «Реквием» не забрали на предыдущем обыске. Впрочем, оставил же на месте гебист, оба раза осматривающий книжные полки, западный (тогда другого не было) том Мандельштама. (Не тот из пары, что с шумной радостью звонил по телефону, — второй.) и остался же в ящике моего письменного стола, тщательно обысканного следователем Шиловым, конверт с аккуратно приготовленными материалами к 11-му выпуску «Хроники текущих событий»...

Великая публицистика и смыслообразующие механизмы

С Ежи Помяновским беседовал Павел
Куцинский



Обстоятельства

Интервью с профессором Помяновским или воспоминания профессора Помяновского? Вначале факты, прежде чем они улетучатся из памяти: декабрь 2002 года, по крайней мере, такая дата видна на кассете с записью. Дата правдоподобна. Цель следует из разговора, хотя — спустя годы — уже не важна для него. Благодаря уговорам и ходатайству Петра Митцнера, неоперившийся студент Университета кардинала Стефана Вышинского был допущен в редакцию «Новой Польши», помещавшуюся тогда в здании Национальной библиотеки, чтобы провести интервью с ее главным редактором. Я хотел расспросить свидетеля литературной и общественной истории о временах его молодости. О памяти, которая формировала великого человека, но скрывала еще и другую историю, совершенно неизвестную, может быть, даже скрытую историю литературы. Ту, из первых рук, когда биография человека

существует вместе с биографиями стихотворений, книг и их авторов. Она лепит человека, оставляет след, не дает забыть о себе и переплетается с рассказом совершенно иначе, нежели это может сделать даже наиболее добросовестно прочитанная книга, взятая с библиотечной полки.

Я собирался задать вопросы об ангажированной, идеологической поэзии, о левых и правых. Это интервью должно было стать одним из приложений к дипломной работе, которую я тогда писал. Из этого мало что получилось. Беседа с Помяновским, членом Польской социалистической партии (ППС), должна была появиться рядом с запланированным интервью с проф. Ежи Петркевичем, довоенным поэтом из числа польских правых, а позже — во время войны и после нее — заслуженным историком восточных литератур в Англии. Еще он был известен под фамилией Питеркевич как английский прозаик и как раз приехал тогда в Польшу. Сопоставление двух воспоминаний — одно «левацкое», второе «правое» — должны были стать достойным увенчанием моей дипломной работы. Из второго интервью мало что получилось. Профессор Ежи Петркевич не захотел разговаривать со студентом о прошлом правого поэта, которое (о чем упоминает Помяновский) он оставил позади и (как в 70-е годы писал Слонимский) «стал признанным писателем и порядочным человеком». Тогда я считал, что одни воспоминания без других, без сопоставления, не имеют смысла. Это разрушало революционную концепцию молодого человека. Сегодня, полтора десятка лет спустя, я еще раз прослушиваю и записываю слова Помяновского. В 2018 году они существуют самостоятельно и звучат серьезно и дельно, являясь на этот раз даже чем-то бóльшим, нежели только моя память. Ведь обстоятельства не важны по сравнению с вневременными смыслами.

Воспоминания Помяновского у тех, кому было дано знать Профессора, либо недолго, как мне, разговаривать с ним, вызывают ностальгию. Помню, когда я уселся напротив, он сказал: «Здравствуйте. Сделаем так: я говорю, а вы слушаете». И я слушал. Слова и повествования о книгах и стихах, цитируемые по памяти строки и целые строфы. Сегодня, хотя (моя личная) цель, к счастью, уже неактуальна, они всё же говорят о чем-то еще — они правдивы и важны. Сегодня даже правдивее и важнее, чем тогда, поскольку требуют понимания того, что по-прежнему универсально. Как, к примеру, лишь раз появляющееся в этих воспоминаниях, но невероятно громкое слово — порядочность.

— Как тогда было, какой была политическая поэзия, г-н профессор?

— «Дзяды» Мицкевича, особенно «Отрывок» из III части «Дзядов» — это сокровища мировой публицистики. Они написаны стихами, что абсолютно не меняет их характера. Даже лирические произведения при соответствующем усилии можно подтянуть под этот термин. Маяковский утверждал, что лирическое стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» — это рекламное стихотворение, рекламирующее в глазах потенциальных прекрасных читательниц мужскую личность и мужские качества автора (что он будто бы такой одинокий и, вот, призывает или, иными словами, рекламирует себя — призывает — чтобы кто-нибудь им занялся). Но это уже некоторое преувеличение.

Если же говорить о польской поэзии, той, из 30-х годов, то она — яркое доказательство, что публицистическая стихия присутствовала не только в романтический период, когда поэты замещали несуществующую государственную администрацию — были не только властителями душ^[1], но и вождями общества, его идеологами, как бы я это назвал, правда, это касается не только того периода, но и периода независимости, когда я рос.

Без этого двадцатилетия свободы у Польши, вероятно, были бы большие шансы вообще исчезнуть с карты мира. Способность общества выдержать период оккупации, затем то, как поляки сопротивлялись натиску большевизма, — всё объясняется тем, что на свете было поколение, выросшее во Второй Речи Посполитой и считавшее существование государства с большим пространством свободы не только желательным, но и естественным. Повстанцы 1863 года уже не помнили Польши до разделов — а повстанцы 1831 года помнили, большинство генералов того периода были наполеоновскими солдатами, которые еще помнили Рыцарскую школу^[2] или Бог знает какие институты... Понимаете?

Роль Церкви в то время была, ясное дело, огромна, но Католическая церковь — это Церковь всеобщая, а не польская, и по этой причине недостаточно было самого ее присутствия в Польше. Без того урока, который дал моему поколению двадцатилетний период свободы и независимости —

независимости, это самое главное! — сама Церковь не справилась бы, не будем обманывать себя.

Поэзия в период двадцатилетия была переполнена публицистикой и даже заменяла собой публицистику. Несмотря на то, что этот литературный жанр относится в Польше к ведущим. К сожалению, у нас нет традиции романа. Единственный хороший, на европейском уровне, польский роман — это «Кукла» Болеслава Пруса. Только Сенкевича можно с ним сравнить. Но он занимался определенным, очень особенным жанром романа.

— А Жеромский?

— Нет. В его книгах нет, к сожалению, универсальных ценностей. Есть второй роман, который делает польскую прозу универсальной. Это «Пламя» Станислава Бжозовского, ставшее единственным в мире сознательным ответом Достоевскому, его времени.

Что касается поэзии 30-х годов, предлагаю вам не использовать слово «идеология», а применять термин «публицистика», и спросить себя, какие из поэтических произведений того периода представляют традиционное для польской поэзии направление версифицированной и, при этом, хорошо версифицированной публицистики. Вещь в Европе редкая. Во Франции, в каком-то смысле, презируемая. Есть такой том Виктора Гюго «Возмездие», представляющий собой шедевр поэтической публицистики, но полный пафоса, пытающийся соединить пафос с лирикой — это вещи недопустимые, тогда как польской поэзии удавалось продвигать публицистику так, что она становилась исповеданием личной веры.

Стихотворение Броневского «Поэзия» — лучший пример этого. Это прекрасное лирическое стихотворение: «Ты вся в белом приходишь снова [...] Мало! Мало! Как этого мало!»^[3]. Это призыв заниматься публицистикой в поэзии. Оценивая поэзию в публицистических категориях, можно ввести соответствующую шкалу ценностей, абстрагированных от идеологии содержания.

Нужно сказать, что Броневский как продолжатель этой романтической, мицкевичевской традиции поэтической публицистики оказался даже лучше чудесного поэта Галчинского. Его стихотворение, призыв к «ночи длинных ножей»^[4], вовсе не курьезен. Это просто публицистика, воспользовавшаяся дурным механизмом, дурным поэтическим механизмом. Прямая публицистика, которая из-

за этого не стала поэзией. Поэзия имеет то превосходство над другими жанрами и потому так важна в публицистике, что позволяет колоссально сократить путь к смыслу. По одной простой причине. А именно, в поэзии носителем смысла является не только семантика, не только словесный слой, но также рифма, ритм, каденция фразы, все то, что считается орнаментом. Вся поэтическая структура. То, что делает сообщение поэтическим произведением, это не орнамент, это дополнительный смыслообразующий механизм и даже больше — мощный двигатель того, что вы хотите сказать. У прозы этого двигателя нет.

— *Это звучит немного по-футуристически, в духе Пейпера*^[5].

— Может быть. В определенном смысле. Может, не столько в духе Пейпера, сколько в духе Пшибося^[6], ведь это он назвал свой томик «Как можно меньше слов». Лишь поэзия позволяет такое. То, что является формой, становится в ней носителем содержания. Конечно, и у прозы есть то превосходство над обыденной речью, что ее искусственность по отношению к обыденной речи заставляет лучше, глубже и быстрее понимать то, что имеет в виду Автор. Повторяю, ее искусственность. То, что используется язык отличный от обыденного, приводит к тому, что это читается по-другому, серьезнее. Читатель иначе воспринимает произведение, написанное хорошей прозой, чем обычную болтовню, и, например, роман Дороты Масловской [«Польско-русская война под бело-красным флагом»] — это пародия на обыденную речь, с этой точки зрения, это очень хорошо написанная книга, но книга, написанная не для того, чтобы освятить этот стиль, а напротив, чтобы этот стиль высмеять, показать, как мало, как плохо работают в нем смыслообразующие механизмы.

— *И сколь немного нужно, чтобы слово перестало быть носителем смысла...*

— Ну это уже слишком. Нельзя отказаться от слова, да и этот персонаж, Сильный, говорит слишком много. Именно это смешно, и именно Масловская прекрасно понимает (это очень талантливая девушка), что кто-то другой выразил бы всё, что хочет сказать Сильный, — если бы хорошо знал польский язык, а не пользовался речью, которую слышит в трамвае или по телевидению, — на трех страницах, и это было бы гораздо понятнее. Он, прежде всего, слишком много болтает. Ему приходится использовать 1000 слов там, где человек образованный использовал бы 100, тогда как писатель мог бы использовать всего пятьдесят, а может быть, и десять.

Возвращаюсь к поэзии 30-х годов. Повторяю, для меня она делится на хорошую публицистику и плохую публицистику.

— *Только на публицистику?*

— Нет. Не только на публицистику, конечно. Но публицистическая стихия в этой поэзии подчеркнута шире, ее больше, чем в поэзии других народов. В немецкой литературе, например, лишь гитлеровские песни, написанные, впрочем, даровитыми текстовиками, имели явное публицистическое содержание. Это означает, что идеология оказывала влияние на мыслящих людей. Но поэзии вы там найдете немного, если уж это стихи, то они годятся только в качестве текстов для марша. У польской поэзии есть большое преимущество над другими — она публицистична в своей основе. Русская поэзия в этом отношении также уступает польской, поскольку публицистика там была настолько связана с официальными лозунгами, официальная идеология так сильно заменяла поэтическую публицистику, что выдающиеся поэты просто от нее отказывались. Как, например, Борис Пастернак, который не принадлежал к оппозиции, то есть принадлежал к оппозиции как интеллигент, но не был активным диссидентом. Исключая, разве что, исторические поэмы, такие, к примеру, как «Лейтенант Шмидт». Пастернак написал очень красивую поэму о молодом флотском лейтенанте, Шмидте, который возглавил восстание в Севастополе в 1905 году, и был позже расстрелян или повешен, что возмутило всю Россию, потому что он не сделал ничего плохого, не позволил стрелять в людей из орудий своего броненосца, командование над которым он принял. Хотя лучше это — эта сцена, это событие — вышло в кино, например, у Эйзенштейна в «Броненосце Потемкине».

Но то, что произошло потом, — вырождение официальной партии, официальной идеологии — привело к тому, что и в русской поэзии все то, чему следовало стать политическим вдохновением для читателя, должно было так сильно напоминать речи вождей, что переставало тем самым что-то значить поэтически, заменяло автора, игнорировало его, форсируя плохую публицистику. Написать хорошее стихотворение о Сталине? О Боже! После смерти Сталина это удалось сделать только Галчинскому. Это стихотворение, как писал Константин Еленский, выделяется как единственное поэтическое произведение среди всех этих вымученных плачей, которые раздались в Польше. Галчинский умел делать такие вещи. Так же, как выдающийся левый поэт 30-х годов Люциан Шенвальд, который, будучи совхозным сторожем в Сибири (он не был в ссылке, а был депортирован или же просто

уехал в Сибирь и выполнял работу, которую ему доверили), в трескучий сорокаградусный мороз, с деревянной колотушкой в руке обходил всю территорию совхоза, следя, не ищет ли кто в замерзших комьях земли забытую, не выкопанную картошку или брюкву. Шенвальд тогда написал стихотворение «Прощание с Сибирью», которое тоже относится к поэтической публицистике, выдержанной в старинном польском жанре. Это лирическое произведение, личная исповедь, представляющая какое-то публицистическое содержание в виде собственных личных убеждений и переживаний.

Что до Петркевича^[7], которого я знал лично, считаю, что как поэт публицистом он был довольно заурядным, скорее, средним, и не сильно услужил своей идеологии. Печатался он в журнале «Просто з мосту» и, постепенно трезвея во время своего пребывания в Англии, в конце концов, пришел к тому, что начал писать очень приличные стихи, обрितые от этой публицистической щетины.

Если же говорить о Броневском, то он был верен своему призванию, воспринимая идеологические вопросы как часть своих личных переживаний, и даже его поздние послевоенные стихи, хотя бы то же «Слово о Сталине», которые, правда, представляют собой лишь бледную тень его довоенной публицистической поэзии, всё же содержат волнующие акценты. Даже такие плакатные выражения, как: «Революция — паровоз истории.../ Слава ее машинистам», являются, не обязательно удачной, попыткой создать хорошую поэтическую метафору. Но это не 30-е годы. Это годы послевоенные. С другой стороны, есть довоенный «истории локомотив» [из стихотворения «Рабочие», сборник «Ветряные мельницы», 1925], это уже само по себе метафора, без нагромождений, это хорошая публицистика, в отличие от той, более поздней.

Что касается 30-х годов, то возьмем представителей второй волны, авангарда, особенно троицу крупнейших поэтов 30-х годов — Милоша, Яструна, Чеховича. Вы всегда можете найти у них прекрасные произведения, которые можно счесть внесением публицистического содержания в поэзию, но не в роли локомотива — воспользуемся Броневским — стихотворения, а как часть его содержательного багажа. Вот есть, например, такое стихотворения Яструна (он был моим учителем польского языка в Общественной польской мужской гимназии в Лодзи), стихотворение о Лодзи:

О весенней облаве крысиной,

Объявляет плакат, грязен сток.
И лазури осколочек синий
Перебросил на запад восток.
(Перевод М. Зенкевича)

Можно в этом образе усмотреть призыв к людям изменить тот уродливый город, что является, некоторым образом, задачей публициста, но речь в данном стихотворении не только об этом. Это попытка передать в сжатой, прозрачной форме некий хаотический городской пейзаж, причем, замеченный, названный на бегу. Он его заметил. То, что это вдобавок побуждает читателя к желанию перемен, это является задачей публицистики, изображением положения вещей для того, чтобы склонить людей к его новой оценке и переменам. У Милоша, к счастью, не найдешь вещей такого рода, разве что в его первом забытом сборнике, а не в его великом, прекрасном дебюте, которым была книга «Три зимы». Это уже гениальные стихи.

У Юзефа Чеховича есть такое содержание, взять хотя бы его стихотворение о Главном вокзале в Варшаве:

Многоокие дебри
лики людского голода
это жалкие луны
всетворенья убогого

У таких поэтов трудно найти вещи на уровне высокой или мицкевичевской публицистики. Даже у Галчинского. А если есть, то вкрапления в пародийных, юмористических, совершенно чудесных поэмах, таких как его «Конец света». Или в этом его коротком стихотворении «Пророчества», представляющем собой насмешку над поэтической публицистикой:

Козерога-премьера
смерть найдет в Лиссабоне,
три ноля, словно сера,
вспыхнут на небосклоне —
снизу прыгнет Пантера,
в бок ударит Холера,

Волопас Офиуха
встретит в низком поклоне.

Если считать это идеологией, то идеологии в этом нет, разве что счесть это анархизмом. Но даже не то, а что-то вроде нигилизма. На анархизм совсем не похоже...

— *Шутовство?*

— Ну да. Но шутовство — это попытка показать, что дурачеством является весь мир.

— *Я хотел еще вернуться к Галчинскому, к его «Молитве о ночи длинных ножей» [«Польша вспыхнула в 1937 году»]. Можно это стихотворение рассматривать как еще одно выступление Галчинского-шута?*

— Нет. Как раз нет. Я с ним не раз об этом говорил, потому что дружил с ним, к счастью, я невероятно его любил. Нет, конечно, он не рассматривал это как шутовство. Это был человек, который искал убежища и опоры. Тайной его, в противоположность Милошу, было то, что что он не мог функционировать без аплодисментов. Милош мог. Припоминаете это его знаменитое высказывание о том, что «мое писание стихов очень напоминает засовывание записок в дупло какого-нибудь дерева, даже археолог до этого не докопается, потому что дерево сгниет вместе с этими записками»? Так ему могло казаться какое-то время. Тогда как Галчинский нашел такую опору в НРЛ^[8]. Он не разделял взглядов, которые представляли собой — и к сожалению, по-прежнему представляют — такую лакмусовую бумажку, отличающую в Польше редкий вид порядочных людей от всех остальных. А именно — в нем не было никакого ядовитого антисемитизма. В нем и в его жене. Может быть, это даже была ее заслуга. Натальи. Они просто не любили евреев, которые играли серьезную роль в издательском деле.

Но, что касается Галчинского, скажу вам, если вам нужны личные впечатления. Моя первая встреча с ним очень характерна. Она произошла в бальных залах Национального театра. Там были такие бальные залы, в которых проходили поэтические утренники и встречи. Иногда с актерами, иногда с драматургами, читки, первые читки пьес, публичные чтения, декламации и т.д. И в этих бальных залах Хенрик Ладосх, член ППС, выдающийся декламатор поэзии, читал Галчинского.

И вот, один из его первых вечеров, на которых я присутствовал, это был вечер поэзии Галчинского, который тогда уже был сотрудником «Просто з мосту», печально известным автором поэмы, стихов-памфлетов о скамандритах^[9]. Но даже тогда никому не приходило в голову вычеркивать его, убирать, избегать. При составлении антологий польской поэзии, а их вышло несколько, вычеркнуть Галчинского за его принадлежность к НРЛ, либо Броневского за его коммунистические симпатии, считалось среди польской интеллигенции *faux pas*^[10], чем-то неслыханным, поскольку это расценивалось не как служба какой-либо идеологии, а лишь как хорошая или плохая публицистика, имеющая в польской поэзии особое, а может быть, даже ведущее место, как мне кажется. Понимаете, хорошая публицистика в поэзии была не только терпима, но считалась неким традиционным жанром. Я ясно выразился? И поэтому то, что Ладош тогда читал Галчинского, было абсолютно восхитительно.

Тогда еще был жив крупнейший (как утверждает Рымкевич, и мне кажется, он прав) польский поэт XX века Болеслав Лесьмян. Ну он как раз не имел ничего общего с публицистикой в поэзии. Именно это его очень выделяет. Он не был ничьим продолжателем. Можно рассматривать его формально в качестве наследника Молодой Польши либо некоего старшего коллеги скамандритов (это правда, что Тувим целовал ему руку всякий раз, когда встречал этого маленького немолодого нотариуса из Замостья) — это всё правда. Но он делал это не потому, что писал подобно скамандритам. Совсем наоборот. Величие Лесьмяна состоит в том, что у него не было предшественников. Он сам был классом для себя. Другое дело, Стафф, который считается отцом «Скамандра», крестным отцом всех Тувимов, Вежиньских, Ивашкевичей и т.д. Стафф просто был наследником Адама Асныка и его поэзии, с той лишь разницей, что Аснык был также типичным представителем публицистического направления, этого поджанра, великого поджанра великой польской поэзии: «Нужно с живыми вперед идти ...».

Не лучшая публицистика, и поэтому Аснык не очень уместен в этом мицкевичевском течении великой, но поэтической публицистики. Броневский, конечно, наследник этого. Намного в меньшей степени Слонимский и Тувим. Вежиньский лишь в эмиграции в «Черном полонезе». Писать лирические стихи, имея дело с публицистическим содержанием, которое ты хочешь привить читателю в качестве личного убеждения, это в Европе удалось, кажется, только полякам. Для меня это

основание считать польскую поэзию великой. Что вы думаете об этом?

— *То есть, публицистика была этапом, который они (хотя и не все) должны были пройти?*

— Нет. Здесь я с вами не соглашусь. Вы считаете публицистику чем-то второстепенным. Полагаете, что это был переходный этап. Тогда как я считаю «Отрывок» III части «Дзядов» публицистикой Мицкевича, а не этапом на пути к его «Лозаннской лирике» или «Пану Тадеушу».

Вы делите литературу на идеологическую и неидеологическую. Я делю ее совершенно иначе. Поэтому я предлагаю вам термин «публицистика», а не «идеология». Если вы хотите изложить мои взгляды, то я подчеркиваю, что, по моему мнению, публицистическая поэзия составляет гвардейский отряд польской литературы и поэзии, а не какой-то там вспомогательный полк таборитов. Забудьте об этом, о делении поэзии: эти — пацифисты, вот эти были правыми радикалами, те — коммунистами, а вон те — государственниками. Это неправильное деление. Термин, который я позволяю себе подсказать вам: публицистика и публицистическая поэзия, дает возможность избежать этого механического деления на левых, пацифистов, правых или государственников. Да, были такие. Можно сказать, что в стихах Яна Бжехвы была представлена идея государственности. Проанализируйте, например, стихи на смерть Пилсудского. Здесь вы найдете примеры великой публицистики, какой для меня являются стихи Казимежа Вежиньского из сборника «Трагическая свобода»...

Стихотворение Вежиньского, заканчивающееся словами: «приговор вам — величье, без него отовсюду гибель»^[11] — одно из лучших польских стихотворений вообще. О Пилсудском. Так же, как чудесная «Пурпурная поэма» Лехоня. Это сама публицистика: «Замер, мертвенно бледный, над клавиатурой». Помните?

— *«Прочь отсюда, сограждане! Кровью пахнуло!»*^[12]

— «Сограждане!». Эта концовка! Вот великая польская публицистика! В других странах и языках вы с трудом отыщете такое.

Точно так же Лехонь и Вежиньский, с одной стороны, Броневский, с другой... Некоторые стихи Александра Вата. Как раз левым не удавалась великая публицистика. Кое-что можно

найти. Но, например, Бруно Ясенский — это публицистическая бойня...

— *Кстати. Взять, к примеру, футуризм. Часто говорят, что революционные и авангардные направления, такие как футуризм, не созданы для спокойных времен. Когда ситуация начинает стабилизироваться, они (в частности, Ясенский) закрывают футуризм, подводят итоги. Начинают писать публицистику. Какую? Политическую? Идеологическую?*

— Я могу рассказать вам, как они рассматривали свою роль. Как народных трибунов. Именно как роль исполняющих обязанности журналистов, публицистов, политиков. В тот момент они отнеслись к этому буквально, и вместо того, чтобы продолжать обогащать лирику публицистическим содержанием, вводили его отдельно по отношению к своим личным переживаниям. Они хотели продолжать парламентские, политические речи своими стихами. Так, словно хотели быть депутатами, революционерами, словно хотели обратиться с речью к нации. Это плохая публицистика. Бронеvский, защищая ту же идеологию, не представлял себя в роли народного трибуна, политрука, идеологического писателя.

— *Он все время представлял себя поэтом...*

— В этом все дело. В этом все дело. Это содержание было для него личной экспрессией. Точно так же, как в то время, когда он сидел в московской тюрьме. Он написал по-русски:

«Человек — это звучит гордо», —
сказал покойный Максим,
а меж тем: тут колотят в морду,
говоря, что ты сукин сын.

— *Кстати, прекрасную, если можно так сказать, историю рассказывает в своих воспоминаниях Ват. Как он будил сокамерников, не давал спать и декламировал стихи. Тогда он был духом поэзии, воплощал дух поэзии, можно сказать, закованный, в кандалах... в этой личной ситуации.*

— Он делал то же самое и позже. У меня тоже была одна ночь, прерванная звонком от него. Не у меня одного, он звонил десяткам людей. Я не был каким-то его избранником, но да, он читал стихи по телефону.

Особняком стоит тут Ивашкевич, который отверг эту несколько официальную, публицистическую ношу, тогда как другие взвалили ее на свою поэзию. Ивашкевич и дальше писал так, как он писал. За исключением одного стишка к Беруту. Это было стихотворение вежливое, не скажу, что челобитное, довольно умеренное, но всё-таки стихотворение верноподданного, а не великого поэта. Но к нему у меня претензий нет. За его широкой спиной...

— ...многие спаслись.

— Вижу, вы хорошо информированы.

— А 1939 год?

— С 1933 года было абсолютно ясно, что рано или поздно будет война. Это беспокоило не только поэтов, беспокоился весь народ, но у поэтов был инструмент, чтобы это выразить. Разве что одни делали это умно, а другие глупо. После речи Бека в марте 1939 года^[13], когда он ясно сказал, что мы не уступим, и коридора не будет, я был свидетелем демонстрации эндековской^[14] и НРЛ-овской молодежи с транспарантами. Все они были антиеврейскими! Так, словно не немцы собирались вскоре начать войну, а они, эти якобы «наши».

Ослепление правых было очевидным. С другой стороны, левые были в большой степени увлечены Советским Союзом. Особенно крайне левые, у которых были свои поэты.

Я был связан с Польской социалистической партией (ППС), публиковался в молодежном органе ППС «Млодзи идон» [«Молодые идут»] как фельетонист. А там как раз больших поэтов не было. Конечно, был Эдвард Шиманский, который открыто считал себя ППС-овцем. Большие социалистические поэты стали пилсудчиками. Они начинали до Первой войны, у них всегда были симпатии к социализму и независимости. Юзеф Мончка, Эдвард Слоньский, Казимира Иллакович, которая стала секретаршей Пилсудского. Но у них нет публицистического содержания. Есть стихи о войне.

В 30-е годы с какого-то момента решающим вопросом была надвигавшаяся война, которая вынуждала занять позицию. Но, повторяю, я это называю продолжением великой традиции поэтической публицистики, которая является гордостью польской литературы, в особенности, польской поэзии. Это пришло из романтизма...

— В любом случае, в поэзии двадцатилетия активно использовались романтические символы, романтизм — хороший или плохой — возвращался...

— Ну конечно, если иметь против советской и немецкой армий несколько танков и несколько десятков полков кавалерии, то нужно было быть романтиком, чтобы не терять надежду. Это тоже было причиной возвращения романтических традиций. Но не только их. Это нить, проходящая сквозь всю польскую литературу и поэзию с преромантических времен, с эпохи классицизма и сентиментализма...

— Последний вопрос. Броневский — поэт политически ангажированный или нет? Можно ли защитить его поэтичность?

— Броневский был поэтом ангажированным, но в защите он не нуждается. Я ценю его за то, что у него было лучшим, в том числе за хорошую публицистику. Я лично люблю его «частные» стихи. Прекрасны его любовные стихотворения, чудесны поздние стихи к дочери. Просто это был выдающийся поэт. Если бы вы были формалистом, вы бы, возможно, причислили его к скамандритам, присвоили бы ему, может быть, первое место среди них. Он был поэтом с талантом не хуже, чем талант Тувима, определенно, таким же, как талант Ивашкевича или Лехоня. Не говоря уж о Вежиньском, который лишь иногда бывал выдающимся поэтом, например, в «Трагической свободе» или «Черном полонезе». Броневский хорош именно благодаря тому, что был лично ангажирован в свои публицистические произведения, это не было для него журналистской халтурой, слепанной стихами и в рифму. Это были его личные исповеди. Великий поэт.

Итак, интервью или воспоминания? Ни генологические различия, ни обстоятельства уже не важны перед лицом сказанных слов.

Перевод Владимира Окуня

-
1. Отсылка к III части поэмы «Дзяды» А. Мицкевича, где Конрад требует у Бога власть над душами людей — Здесь и далее примеч. пер.
 2. Рыцарская школа (Академия шляхетского корпуса Его

Королевского величества и Речи Посполитой) — государственная школа, основанная 1 марта 1765 г. в Варшаве королем Станиславом Августом Понятовским.

3. Перевод А. Базилевского.
4. Стихотворение «Польша вспыхнула в 1937 году», опубликованное в крайне правом еженедельнике «Просто з мосту», было антилиберальной декларацией, призывом к националистической революции — Примеч. ред.
5. Тадеуш Пейпер (1891–1969) — польский поэт, литературный критик, теоретик поэзии, эссеист.
6. Юлиан Пшибось (1901–1970) — польский поэт, эссеист, переводчик и публицист.
7. Ежи Петркевич (1916–2007) — поэт, прозаик, переводчик, историк литературы — Примеч. ред.
8. Национально-радикальный лагерь — экстремистская националистическая польская группировка, запрещенная в 1934 году. В 1993 году была образована одноименная неонацистская организация, действующая, несмотря на общественные протесты, до сих пор. — Примеч. ред.
9. Скамандриты — члены польской литературной группы «Скамандр», основанной в 1918 году поэтами Ю. Тувимом, А. Слонимским, Я. Ивашкевичем, К. Вежиньским и Я. Лехонем
10. Фаух рас (франц.) — оплошность, проступок
11. Из стихотворения К. Вежиньского «Посмертный приговор».
12. Фрагменты из стихотворения Я. Лехоня «Мохнацкий» в переводе А. Гелескула.
13. Парламентская речь министра иностранных дел РП Юзефа Бека, в которой было отвергнуто германское требование создания транспортного коридора между Рейхом и Восточной Пруссией.
14. Эндеки — члены Национально-демократической партии (польская правая националистическая партия).